

оксана шаталова, георгий мамедов

КВИР-КОММУНИЗМ ЭТО ЭТИКА



Оксана Шаталова (1972), Георгий Мамедов (1984) – кураторы, исследователи, авторы и участники многих художественных проектов. Работают вместе с 2007 года, в 2011 году входили в кураторскую группу Павильона Центральной Азии на 54-ой Венецианской биеннале; в 2012 году (вместе с Асель Акматовой) организовали в Бишкеке Штаб -центральноазиатскую художественно-исследовательскую институцию, деятельность которой основана на понимании искусства как инструмента социальной критики, территории солидарности и практики радикального воображения. Сфера исследовательских интересов – история и теория культуры, современная философия, культурная политика, гендерная и квир-теория. Эта книга представляет собой своего рода интеллектуальный отчет: в нее вошли тексты на темы, над которыми авторы работают в течение последних нескольких лет. Первая – левая интерпретация противоречивого советского наследия, вторая – радикальное воображение коммунистического будущего.

обложка - Николай Олейников

ISBN 978-5-9907804-0-8
свободное марксистское издательство
серия новые красные, 2016

содержание

От авторов (5)

Квир-коммунизм это этика (8)

Почему нас интересует советское? (19)

Русский язык в Кыргызстане: дискурс и нарративы (29)

Без исключенных: феноменология социалистического города.

Фрунзе/Бишкек (45)

Иллюзия советского: консервативный поворот в Кыргызстане.

Законопроект о запрете «гей-пропаганды»

и советский дискурс о гомосексуальности (63)

Кухня и освобождение от нее: домашняя работница

в советской прессе 70-х гг. (85)

Штаб: квир-метод (104)

От авторов

Книга представляет собой своего рода интеллектуальный отчет авторов за последние несколько лет: ее составляют тексты на две магистральные для Штаба темы: первая – левая интерпретация советского, вторая – радикальное воображение коммунистического будущего. Работа с противоречивым советским наследием – одно из принципиальных и продуктивных для нас направлений; эта работа вылилась в несколько больших трансдисциплинарных проектов и несколько десятков статей и докладов, написанных авторами за четыре года работы Штаба. Некоторые из этих текстов представлены в книге, и они исследуют противоречия советского не только в историографическом, но и в генетическом ключе. То, что советское и современное прочно связано; то, что советское есть фактор конструирования современности – это, пожалуй, всеми разделяемое общее место, – однако характер этой связи часто определяется небрежно и неаналитично, в поп-психологическом, морализаторском либо манипулятивном духе, – взять хотя бы популярные в социальных сетях мотивы «неизжитого совка» или «тоталитарного мышления масс».

Одна из наших текущих задач – демонстрировать несостоятельность подобных мифов, аккуратнее и внимательнее обходясь с темой советского: например, в тексте «Иллюзия советского: консервативный поворот в Кыргызстане...» представлен анализ советского дискурса гомосексуальности, – мотивированного иначе, нежели представляют либералы, сводящие нынешнюю официальную гомофобию к «возрождению совка». Впрочем, для таких «бродячих сюжетов» есть причина: советское сегодня очевидно запрашивается властью и встраивается в актуальный идеологический дискурс, – этот мотив, помимо прочих, обозначен в тексте «Почему нас интересует советское» (теме «утилизации социалистического», – когда наследие социалистического используется для валоризации капиталистического, – был

специально посвящен один из наших проектов). Наиболее репрезентативно сложный комплекс противоречий советского проявляется в Центральной Азии через тему русского языка (статья «Русский язык в Кыргызстане: дискурс и нарративы»): с одной стороны, русский язык – очевидный элемент насильственного колониального влияния, с другой стороны – фактор и инструмент коллективности (в том числе коллективности сопротивления), позволяющей не замыкаться в национальных границах и быть частью широкого культурного пространства. В статье «Кухня и освобождение от нее» представлен анализ советской прессы 70-80-х годов, иллюстрирующей провал советского проекта женской эмансипации, вылившийся позже в постсоветский «патриархатный ренессанс».

Вторая важная для нас тема – работа с утопией, воображение будущего на пересечении левой и квир-теории (текст «Квир-коммунизм это этика»), – с привлечением средств литературы, искусства, теории. Но, если с советским мы работаем давно и привычно, то к теме утопии лишь подступаем, несмотря на то, что она мерцала на нашем горизонте практически со дня основания Штаба, неизменно давала о себе знать, но ясных очертаний не обрела. Только сейчас мы собираемся заняться этой темой прицельно – 2016-2017 годы будут посвящены в Штабе именно работе с воображением. Это важное обстоятельство – по оптимистичной логике капитана Врунгеля – даже стало поводом для переименования нашей организации, – в течение двух лет аббревиатура «Штаб» будет расшифровываться как «Школа творческой актуализации будущего» (о том, что такое наша «радикальная институция», читайте в тексте «Штаб: квир-метод»).

Нередко в нашей работе две тематические линии – «советское» и «утопическое» – смыкаются. В тексте «Без исключенных: феноменология социалистического города» представлено исследование силовых линий утопии, определявших формы реализации в СССР проекта массового жилищного строительства. Эти утопические мотивы явны

и «осязаемы», они не исчезли бесследно, разрушившись от соприкосновения с грубой явью (как постулирует либеральный здравый смысл), но вполне вычлняемы в контурах «реального социализма». Это мотивы инклюзивности, которые также важны для нашей будущей работы.

Футурология исключения

Георгий: Эмансипация рабочих, как мы помним, возможна только при победе пролетариата в классовой борьбе. Чтобы победить, рабочий класс должен обрести классовое самосознание, стать «классом-для-себя», т. е. в полной мере осознать свое угнетенное положение и покончить с ним. Иными словами, только рабочие могут быть субъектами своего собственного освобождения. Интересно, что эмансипация всех остальных угнетенных групп виделась многим революционерам, и большевикам в первую очередь, по-другому. Наверное, этот образ можно назвать «эмансипацией без субъекта».

В визионерских и утопических текстах революционной эпохи освобождение часто связывается с развитием производительных сил. Яркий пример – Бебель, согласно которому освобождение женщины от «кухонного рабства» лежит через электрификацию и научную организацию приготовления пищи. На электрифицированной кухне готовкой по научно выверенным рецептам все так же будет заниматься женщина, но сам процесс приготовления еды будет напоминать не рабский труд, а работу ученого в лаборатории. Система отношений, этос, при этом пересмотру не подвергается. Эта бебелевская вера в освобождающую силу технологии легла и в основу большевистского эмансипаторного проекта, практически вся энергия которого была инвестирована в строительство условных фабрик-кухонь, в то время как сам принцип гендерного разделения труда пересмотру не подвергался.

Беседа-перформанс на конференции Фонда Розы Люксембург «Современные утопии», Винзавод, Москва, 17-18 декабря, 2015

Или другой пример. При капитализме инвалидность имеет характер стигмы и воспринимается исключительно как бремя. С эмансипацией и интеграцией инвалидов или людей с психическими особенностями все обстояло еще хуже. Имела место просто откровенная евгеника. В воображении революционеров, развитие технологий должно было не этих людей эмансипировать от капиталистической стигмы неполноценности, а освободить общество от таких людей. Согласно Троцкому, например, одним из безусловных достижений социализма станет *искусственный отбор*, который позволит вывести новый «социально-биологический тип» человека.

Оксана: Да, и если мы последуем во времени далее, в послевоенную фантастику, то заметим такой же образ будущего. Ставки делаются на технику, человек же является ее функцией. Причем техницизм выступает в ансамбле с биодетерминизмом. Это очевидно у такого писателя, как Ефремов, который, следуя логике роста производительных сил, приходит к эссенциализму. В будущем на лице земли останется только прекрасное, лучшее, здоровое, то есть – в версии Ефремова и сегодняшних консерваторов – всё фундаментальное, базовое, неизменяемое. Люди будущего у Ефремова здоровы и красивы, а гендерная бинарность – базовый принцип бытия.

И это отнюдь не установка будущего, но установка настоящего (так, например, трактует фантастику Джеймисон, и я с ним согласна). Чтобы увидеть настоящее, нужно его остраничь, – и в фантастике, особенно утопической, это осуществляется посредством особой операции: настоящее меняет внешность, но сохраняет нечто существенное – аксиологию, основные установки и ценности. Здесь самый яркий пример – позиция братьев Стругацких. Они декларировали, что героев будущего они списывают со своих современников, друзей, «лучших людей сегодняшнего дня». Одна из глав их романа «Полдень, XXII век» называется «Почти такие же». То есть люди будущего – «почти такие же», как «лучшие люди»

настоящего. Таким образом, этических проблем социализации и инкультурации советских мужчин (не могу сказать «людей», т.к. герои Стругацких – только мужчины) для писателей не существовало.

Эти этические проблемы, установки и ценности, которые мы вычленим в советской фантастике, интерсекциональный феминизм называет эксклюзивными, то есть исключающими. Инвалидов, людей с особенностями психики, гомосексуалов, квилов, людей «некрасивых» и «неумных» в коммунистическом будущем нет потому, что их не было в советском настоящем. «Не было» в том смысле, что их интересы программно игнорировались.

Фантастика как аксиологический свод исключает все эти девиации просто умолчанием. Для этого исключения не нужны газовые камеры, федеральные законы и хоругвеносцы. Это исключение чистое и бескровное. Это просто переписанный мир. Мир «здоровый», то есть медиализированный, эйблистский, сексистский – и далее по списку исключений.

Георгий: Умолчание работает как вытеснение. Мне вспоминается фрагмент одного из многочисленных «Стартреков». Герои из будущего оказываются в земном госпитале 1980-х. Они убегают от преследователей, но им преграждает путь каталка со старушкой, которую везут на операцию. Доктор с «Энтерпрайза», приговаривая что-то вроде «не медицина, а инквизиция», дает ей таблетку, которая моментально избавляет ее от недуга. Фантастика тут во многом работает как магия. Волшебная таблетка избавляет и от самой болезни, и от ее социальных коннотаций – изоляции, беспомощности, бремени заботы, которое ложится на ближайших родственников. Из социологического воображения устраняется необходимость бросать вызов общественным установкам – всё, что нам не нравится, просто исчезнет с развитием науки и техники.

Но это совсем не марксистский взгляд. Тут полезно вспомнить раннего Маркса, согласно которому преодоление от-

чуждения – не эффект антикапиталистической революции (как многим представляется), а один из важнейших факторов ее осуществления. Именно в стремлении преодолеть отчуждение, т. е. подвергнуть радикальному пересмотру общественные установки, и рождается революционный субъект, способный разнести к чертям ненавистный миропорядок.

Из недавнего фантастического чтива в этом смысле интересным кажется роман «2312», в котором Ким Стэнли Робинсон ставит веру в технологическую эмансипацию без субъекта под сомнение. В мире его романа люди освоили всю Солнечную систему, космическое пространство соединено с Землей гигантскими лифтами, продолжительность жизни спейсеров (людей, живущих на других планетах) может достигать пятисот лет, есть возможности для преодоления половой бинарности, астероиды приспособлены под нужды сельского хозяйства и перемещения по Солнечной системе. И на фоне всего этого – из десяти миллиардов землян три живет за чертой бедности, а еще пять-шесть около этой черты. Т. е. современная социальная композиция мира осталась неизменной. Угнетение осталось, насилие осталось, неравенство только усилилось. Технологии, даже самой прогрессивной и совершенной, недостаточно для эмансипации. Необходим субъект, требующий пересмотра общественных установок и отношений, настаивающий на совершенно иных этических императивах.

От воображения технологий к воображению отношений

Оксана: Сама по себе технология, в отсутствии субъекта эмансипации, не является «нейтральной» освободительной силой. Интересы женщин никогда не относились к приоритетным, – оттого техника здесь, перефразируя Ларису Рейснер, «не на нашей стороне». Например, до сих пор не создано эффективного обезболивания родов, – эта проблема не просто не принципиальна, но встречает противодействие со стороны консерваторов. Несмотря на развитие медицины,

роды – по-прежнему опасный, травмогенный, болезненный акт для женщины.

Однако, по нашему убеждению, радикальная феминистская утопия – это не просто безопасные и безболезненные роды, но освобождение женщины от гнета биологии, экстракорпоральное зачатие и вынашивание детей. Женщины не должны рожать. И уже сегодня это отнюдь не фантастика: существуют серьезные разработки искусственной матки. Вместе с тем подобная технологическая перспектива ставит ряд этических вопросов. Некоторые феминистки относятся к инновациям в сфере репродуктивных технологий с опаской, подозревая, что эктогенез может быть обращен против интересов женщин, может стать еще одним инструментом угнетения, отчуждая женщин от «средств воспроизводства» человечества. То есть, технология может демонстрировать как эмансипационный, так и консервативный потенциал – в зависимости от этических императивов того, кто ее контролирует.

Не говоря уже о том, что экстракорпоральное зачатие открывает широкие возможности для евгенических практик, «искусственного отбора». Сегодня мораль эксклюзивна, основана на сегрегации здоровых и больных – и при такой морали эти технологии могут стать основой для производства «здоровых», «нормативных» людей, без «отклонений» и «болезней». То есть для производства сегрегации как таковой. Между тем «отклонение» и «болезнь» это не объективные данности, а социальные конструкты, инструменты того же исключения.

Но что же предлагаем мы? На что должно быть направлено радикальное воображение сегодня? Мы говорим, что квир-коммунизм – это прежде всего этика, то есть определенный тип отношений между людьми. Воображение будущего должно повернуть от воображения технологий к воображению отношений, определяемых этическими императивами инклюзивности и отказом от количественного измерения угнетений.

Мы видим мир будущего как мир сознательного этического выбора, как мир ненормативных людей, в котором нет большинства, поскольку все уязвимы, хотя и по-разному. Какой это мир? В этом мире, например, нельзя представить автобус без удобного пандуса, как сегодня его нельзя представить без двери. В этом мире никого не раздражает, что пандус выдвигается на каждой остановке (как это раздражило одну российскую телеведущую в какой-то европейской стране). И шрифт Брайля в этом мире встречается не только на выставках современного искусства или в других «особых зонах».

В мире будущего, как и в настоящем, будут инвалиды, люди с психическими особенностями, будут люди с «болезнями», будут очень разные люди, но их особенности не сделают их «меньшинством», то есть изолированными, маргинальными, носящими стигму несчастья. Вот утопия, над которой мы хотим работать.

Революционное предательство

Георгий: В смысле корреляции этики и политики для меня всегда вдохновляющей была позиция Беньямина. Сегодня, кажется, есть уже некоторая усталость от этого автора, но мне слишком дорога его идея революционного предательства, чтобы отказаться от нее в угоду интеллектуальной моде. Я имею в виду текст «Автор как производитель», в котором Беньямин цитирует Арагона, сказавшего, что «Революционный интеллигент предстает в первую очередь и прежде всего предателем по отношению к классу, из которого он произошел». Для меня это универсальная формула солидарности. Понятно, что этот императив обращен к носителям привилегий. Беньямин его обращал к буржуазным писателям и художникам, стремившимся быть в авангарде революционной культуры. Но если придерживаться матрицы интерсекционального феминизма, которая настаивает на пересечении как угнетений, так и привилегий, то этот

императив предательства своих привилегий может быть обращен практически к каждому.

Неожиданным для меня было открытие, что таким вот революционным предателем был известный классик соцреализма – Семен Чуйков. В 1936 году он делает выставку против русского колониализма в Киргизии, будучи русским, рожденным в Киргизии (и, соответственно, связанным с этим колониализмом). Выставка была посвящена среднеазиатскому антиколониальному восстанию против Российской империи в 1916 году. В Семиречье (территория современных Кыргызстана и Казахстана) это восстание было особенно кровавым. Тысячи кыргызов и казахов были вынуждены спасаться бегством в Китай от царских карателей и казаков. Восстание носило откровенный межэтнический характер, – для восставших колонистами были все русские. Чуйкову было 14 лет в 1916 году, и он наверняка хорошо помнил события восстания. Но в 1936 году он оказывается на стороне угнетенных, предавая, таким образом, свое русское колониальное происхождение.

Мне кажется, что солидарность, осознанный этический выбор, – это всегда вот такое радикальное и болезненное предательство. Солидарность с угнетенными – это уничтожение в себе угнетателя. В этом смысле, у меня никогда не вызвали доверия движения вроде «Альянс гетеросексуалов за права ЛГБТ» или «Союзники феминизма», тем более мужчины-феминисты и т. п. Это не подрыв матрицы угнетения, а ее укрепление, доминирующая группа только укрепляет свои позиции. Сравни это с движением «Буржуазия за права рабочих», – смешно, правда? А мужчины за права женщин – нормально.

Поэтому если уж делать этику предметом утопического воображения, то наша утопия это не «гетеросексуалы за права ЛГБТ», а, например, – ОДСМ – **Общество добровольного самоуничтожения мужчин**. Мы хотим жить не только в мире без классов, но и в мире без мужчин и женщин, но чтобы не было мужчин и женщин, сперва должно не стать мужчин!

Феминистская диктатура

Оксана: Действительно, сложно назвать хотя бы одну причину, которая оправдывала бы существование концепта «мужчины» в утопическом мире без патриархата. Что такое «мужчина»? Когда мы, допустим, встречаем на улице человека, то определяем его как «мужчину» не тем, что проверяем у него наличие определенных гениталий, а тем, что тестируем его гендер – одежду, манеру общения, некие вторичные и третичные признаки. «Мужчина» это концептуальный конструкт, подразумевающий набор мужественных черт.

И весь этот набор без исключения есть функция или эффект патриархата. Поэтому фразы «мужчины за права женщин» или «гетеросексуалы за права квинов» действительно аналогичны фразам «буржуазия за права рабочих» или «пчелы против меда». Это попытка сохранить свои привилегии. Не революционный, а косметический, реформаторский путь.

В этом смысле «Общество добровольного самоуничтожения мужчин» действительно звучит революционно. Это коррелирует с марксистской идеей перехода от классового к бесклассовому обществу через промежуточную форму – диктатуру угнетенного класса, пролетариата. По аналогии: путь к свободному агендерному обществу лежит через *феминистскую диктатуру*, или, что то же самое, через радикальный отказ доминирующей группы от привилегий.

Оппоненты говорят, что слово «диктатура» звучит страшно и насильственно, и что «большинство» удовлетворено современной гендерной системой. Однако оппоненты не замечают, что уже существуют в условиях диктатуры: в привычных условиях патриархатной диктатуры, – в гетеросексистской, гендерно-нормативной матрице, которую каждая женщина «свободно выбирает», пройдя фильтры социализации и инкультурации, школу «кнутов и пряников», социальных наказаний и поощрений, обучающих чувствовать и желать. Однако и сегодня такая дрессировка (программирующая производство гендерно сегрегированной детной

гетеро-семьи) работает со сбоями. Адриен Рич писала о гетеросексуальности, которая навязывается женщинам «как путем непосредственного насилия, так и на бессознательном уровне», – то же самое можно сказать о гендерной модели вообще. Тем не менее, существуют множество людей, не вписывающихся в систему. Рич пишет о женщинах, сопротивляющихся принудительной гетеросексуальности «под страхом пыток, заключения, психо-хирургии, социального ostrакизма и крайней бедности». «Отклонений» от предписанной ролевой модели великое множество: бездетные женщины, «матери-одиночки», одинокие женщины, ЛГБ-ТИК+. Этот «плюс» показывает, что количество девиаций, с которыми приходится бороться защитнику традиционных ценностей, бесконечно. Это программно не включенные в систему люди, которым нормативная аксиология отказывает в «счастье», в «самореализации», а порой и в самой человечности. А включенные? Как обстоит дело с женщинами, которые «обрели счастье в семье», – каждая счастлива и самореализована? Не углубляясь в детали, можно вспомнить лишь статистику семейного насилия, а, говоря без эвфемизмов, статистику *системного насилия мужчин над женщинами и детьми* (в Кыргызстане, по официальным данным, пострадавших женщин – больше 2 тысяч ежегодно, при этом правозащитники сходятся в том, что реальная статистика в разы больше). Что такое это насилие, как не рутинная работа надсмотрщиков патриархатной диктатуры? Иными словами, лояльность некоего аморфного «большинства» существующей системе как минимум спорна. Не говоря о «множестве меньшинств», которых система карает без оговорок и иллюзий.

Феминистская, или *квир-диктатура*, это не диктатура «большинства», а диктатура перераспределения привилегий в сторону бывших «меньшинств» (женщины, не являясь меньшинством статистически, являются таковым политически). Принципиальная иная социализация и инкультурация – без унылого навязывания мужских и женских «пред-

назначений» – создаст иную карту желаний «большинства», вернее, элиминирует само это понятие («большинство») в отношении пола и сексуальности.

Мы считаем, что существующая система исторически обречена, однако для ее сноса необходимы консолидированные усилия угнетенных. Мы не отрицаем, что для многих мужчин ее рамки тоже узки, поскольку система груба и косна. Мы приветствуем желание мужчин присоединиться к борьбе, однако представители доминирующей группы должны ясно осознать ту роль, которую отводит им система (здесь примером может быть как Чуйков, так и Энгельс – представитель буржуазии, который не пытался доказать, что «богатые тоже плачут»), – чтобы сознательно отказаться от этой роли. Непризнание патриархата как системной власти мужчин не ведет к равенству, а, напротив, затушевывает и консервирует повседневность насилия и дискриминации, ослабляет и нивелирует феминистскую борьбу. В этом смысле «Общество добровольного самоуничтожения мужчин» может быть первым шагом смелой солидарности.

Радикальная солидарность

Оксана: Но здесь обязательно встает вопрос о практиках отказа от привилегий, о повседневности, о формах активизма, если угодно, о *культуре предательства* доминирующей группы. ОДСМ звучит эффектно. Но что это значит на практике – вступить в «Общество добровольного самоуничтожения мужчин»?

Георгий: Хороших мужчин не бывает, как не бывает хороших капиталистов. Дело не в конкретном человеке, а в месте, которое он занимает в системе угнетения. В общем-то, никто из нас это место угнетателя добровольно не выбирает, и я не вижу никакого смысла пытаться его сохранить. Самым первым шагом на пути революционного предательства должен стать публичный отказ от своей мужественности, от своих привилегий угнетателя. Можно, например, надеть вот такой

значок с лозунгом движения «*Мужчиной быть стыдно*». Если вы будете носить этот значок, то неминуемо превратитесь в объект постоянного интереса, порой агрессивного. Вы будете вынуждены оправдываться и объясняться, так же как постоянно оправдываются и объясняются представители различных угнетенных групп в патриархатном обществе.

И все же, революционное предательство не сделает представителя доминирующей группы угнетенным. Это очень важно помнить. Значок можно с легкостью снять, а перестать быть женщиной с той же легкостью не получится. Революционное предательство не стоит воспринимать как рецепт революционной трансформации, наподобие либерально-наивного императива «начни с себя». Предать свои привилегии – не более чем базовое условие, входной билет, первый пункт нашего «Кодекса строителя квир-коммунизма», простите, искра, из которой разгорится пламя. Это заявление о готовности принять вызов равенства. Ведь чтобы всем стало хорошо, многие должны будут расстаться со своим комфортом. Иного рецепта революционного перераспределения общественного блага, кроме экспроприации, булгаковского «отнять и поделить» – нет. Однако мысль о том, что экспропрированными могут оказаться ресурсы, неравномерное распределение которых связано с патриархатным исключением и угнетением – свободное время, ресурсы репрезентации, бытовой комфорт и т. п. – не является самоочевидной для многих представителей доминирующих групп, выступающих за равенство и эмансипацию угнетенных. Революционное предательство – это заявление о намерении, декларация утопической (но не идеалистической) интенции, которая только тогда будет реализована в полной мере, когда из индивидуального жеста превратится в массовую революционную практику.

Георгий Мамедов

Почему нас интересует советское?

«История – предмет конструкции, место которой – не пустое и гомогенное время, а время, наполненное «актуальным настоящим». Так, для Робеспьера Древний Рим был прошлое, заряженное актуальным настоящим, прошлое, которое он вырывал из исторического континуума. Французская революция понимала себя как возвращение Рима. Она цитировала Древний Рим так же, как мода цитирует одеяния прошлого. У моды чутье на актуальность, где бы та ни пряталась в гуще былого. Мода — тигриный прыжок в прошлое. Только он происходит на арене, на которой распоряжается господствующий класс. Тот же прыжок под вольным небом истории – прыжок диалектический, как и понимал революцию Маркс».

Вальтер Беньямин, «О понимании истории»

В качестве эпиграфа к своему сегодняшнему докладу я выбрал эту длинную цитату из Беньямина, потому что в ней обозначены два важных для моих дальнейших рассуждений момента. Первое – история всегда связана с настоящим, и второе – история является полем битвы. Переопределение, переосмысление и присвоение истории – это важнейший фактор политической борьбы в текущий момент. Именно в этом ракурсе мне бы хотелось задаться вопросом «Почему нас интересует советское?» и попытаться предложить на него ответ. Хотя, наверное, правильнее было бы сформулировать вопрос иначе: «Чем объясняется сегодняшний интерес к советскому?». Я бы не хотел повторять уже многократно озвученные в материалах к проекту «Понятия о советском в ЦА»

Доклад на симпозиуме «Советизация Центральной Азии: между колониализмом и модернизацией», Штаб, Бишкек, 21-23 мая, 2015

мотивы нашего собственного обращения к теме советского. Если использовать психоаналитический язык, то эти наши мотивации – это своего рода рационализация нашего интереса к советскому. Мне бы хотелось занять метапозицию аналитика и осмыслить наш (Штаба), и не только наш, интерес к советскому как некий симптом текущего момента или, говоря беньяминовским языком, – «актуального настоящего».

Для начала мне бы хотелось показать, что наш интерес к советскому не является субкультурным или идиоматическим. Я сделаю краткий обзор того, каким образом происходит обращение к теме советского, а шире – к опыту реального социализма в разных областях, например, в искусстве и социально-гуманитарных науках.

1. Критическая ревизия советского

За последние несколько лет можно выделить ряд крупных международных выставок, программно обращавшихся к опыту бывшего социалистического блока. Это, в первую очередь, выставка художников из бывших социалистических стран «Остальгия» (2011) в нью-йоркском Новом музее. В центре внимания выставки была память о социалистическом опыте и, в первую очередь, – об утопическом, связанном с социалистическим проектом. Первая триеннале «Бергенская ассамблея» (2013), которую курировали Екатерина Деготь и Давид Рифф, называлась «Понедельник начинается в субботу» и также обращалась к опыту позднего социализма и его утопическим интенциям. Сегодняшний разговор о советском в искусстве это, условно говоря, не кабаковский «Туалет» (1992), не разговор о травме, о подавлении тоталитарной системой «маленького человека», а напротив, – радикальное переосмысление этой «тоталитарной системы» и запрашивание в ней некоего утопического содержания.

И еще один пример: в апреле я был в Нью-Йорке, где в Музее современного искусства (МОМА) проходила выставка «Латин Америка ин Констракшн» (Latin America in

Construction). Это выставка обращалась не к советскому и не к опыту социализма, а к альтернативному, нерыночному опыту развития третьего мира. Выставка была посвящена архитектуре Латинской Америки 50-80-х годов и ведущей роли государства в строительстве крупных общественных объектов – промышленности, университетов, социального жилья, а также существенной утопической составляющей этого строительно-архитектурного бума. Можно сказать, что интерес к советскому сегодня вписывается в поиск альтернатив доминирующему, но все глубже погружающемуся в кризис, социально-экономическому порядку.

Если говорить о науке, то и там можно отметить довольно активный интерес к советскому. Например, постоянно проходят конференции и симпозиумы, связанные с исследованиями советского. Только в течение нескольких месяцев этого года Оксана и я приняли участие в четырёх событиях в разных городах, – в Москве, Екатеринбурге, Беркли, которые так или иначе были посвящены советскому. Конференция в Беркли называлась «Эстетика коминтерна», а ее цель организаторы сформулировали следующим образом: «Составить альтернативное картирование (mapping) мировой культуры, децентрализующее Запад и уделяющее особое внимание культурным влияниям и связям, генерировавшимся странами т. н. “реального социализма”». Мы снова можем обратить внимание на запрос альтернативы, иного взгляда, содержащегося в советском и который, возможно, до этого оставался незамеченным.

В постсоветском искусствоведении, прогрессивном я имею в виду, тема советского существовала только в двух легитимных ипостасях – «русский авангард», с ограниченным набором имен – Родченко, Степанова, ЛЕФ, и неофициальное искусство 60-80-х. Все остальное достойным серьезного внимания не считалось. В последние лет пять ситуация серьезно меняется. Растёт интерес к реализму, который как исследовательская тема был маргинализирован и к поздне-советскому модернизму, в первую очередь архитектурному.

Расширяется не только набор исследовательских интересов, но и происходит серьезное переосмысление того же авангарда и неофициального искусства. «Авангард, остановленный на бегу» – искренние устремления художников, прерванные властью, явившей себя во всей своей сущности, – такого рода оценки, некогда бывшие непреложными, сегодня подвергаются серьёзной ревизии, так же как и нонконформизм неофициальных художников, в особенности 80-х годов. Фокус смещается в сторону выявления советскости нонконформистского советского искусства.

Интересно, что интерес к реализму и позднесоветскому модернизму в первую очередь формируется на Западе, а уже потом отзывается эхом у нас. Хороший пример – выставка советского модернизма в Венском центре архитектуры (2013). Улан Джапаров, бишкекский архитектор, помогавший организаторам с поиском объектов для выставки в Бишкеке, делился своими впечатлениями: «Боже мой, мы никогда не знали, что русский драмтеатр – это здание, которое заслуживает внимания». Интерес к советскому и определённые акценты в этом интересе зачастую задаются извне, Другим, и только затем подхватываются в постсоветской среде.

Интерес к советскому можно обозначить как симптом кризиса того консенсуса, который Жижек называет «браком либеральной демократии и свободного рынка», а Фукуяма определил как «конец истории». Этот консенсус пребывает в кризисе с 2007 года. Я не думаю, что, тезис о том, что мы переживаем кризис, требует какого-то эмпирического обоснования. Достаточно обратиться к любой новостной ленте: ситуация в Греции, «Арабская весна», движение «Оккупай», протесты в Фергюссоне и Балтиморе в США и т. д., не говоря уже о том, что происходит на постсоветском пространстве.

Кризис критичен, «кризис» и «критика» – однокоренные слова. Необходимость в критике, т. е. выявлении скрытых механизмов внешне благополучной и нормально функционирующей системы, в условиях кризиса отпадает. Критика становится имманентной самому объекту критики. Гораздо

более актуальным становится запрос на поиск альтернатив той ситуации, в которой мы находимся. Спрос на альтернативы способствует ревизии опытов 20 века, переоценке, возвращению к архиву, к тому, что казалось уже давно разложено по полочкам, и с чем можно было бы распрощаться. К советскому возникает интерес, возможно, формулируемый на бессознательно-обывательском уровне – «А может мы что-то пропустили в этом опыте? Надо к нему вернуться».

2. Советское как незавершенный проект

В 1980-м году Хабермас прочитал свой известный доклад «Модерн – незавершённый проект». Мне кажется, что сегодня этот взгляд, возможно, обретает большую актуальность и гораздо точнее описывает текущий момент, чем в 1980-м. Модерн, казавшийся нам завершённым, перешедшим в постмодерн, или в экономическом смысле, в неолиберальную модель капитализма, оказывается незавершённым, оказывается открытым для нас и открытым для исследования и ревизии, и ревизия эта может быть разной, она осуществляется разными способами, от политически нейтральной археологии до эксплицитно политически заряженного вопрошания.

В качестве примера такого политически заряженного вопрошания советского мне бы хотелось рассмотреть книжку американской теоретикесы Джоди Дин «Коммунистический горизонт». «Коммунистический горизонт» – это теоретический и политический манифест. Цель Дин – вернуть «коммунизм» в качестве названия проекта будущего в политический и теоретический оборот. Горизонт – это метафора, позволяющая нам определить своё местоположение в пространстве, соответственно, «коммунистический горизонт» – это метафора, позволяющая нам достаточно точно определить свои политические координаты как в отношении политического проекта будущего, так и в отношении к прошлому.

Первая глава «Коммунистического горизонта» называется «Наши Советы». Для Дин очевидно, что сегодня никакой разговор о коммунизме, о революции невозможен без обсуждения советского опыта и шире – опыта реального социализма. Дин обращается в первую очередь к американской аудитории, поэтому она обсуждает даже не советское, а его репрезентацию в американской культуре, в которой коммунизм и советское синонимичны. Если ты говоришь о коммунизме или о коммунистах, значит, ты говоришь о советах и Советском Союзе.

Этот знак равенства между советским социализмом и коммунизмом лежит в основе главного исторического аргумента либералов – аргумента о завершенности коммунизма как политического проекта. В либеральном представлении выстраивается непротиворечивая последовательность событий «Революция – Советский Союз – Сталин – Гулаг – Крах». Конец Советского Союза ознаменовал собой и конец коммунизма. Дин оппонирует этой либеральной логике на двух уровнях, историографическом и философском. Дин, например, обращает внимание на то, что сталинский СССР, ставший символом и советского, и коммунистического, и США были ближайшими союзниками. Ни в один другой период советской истории США и СССР не были столь близки, как в предвоенный и военный периоды. Советский опыт необходимо историзировать, указывая на его неоднородность, противоречивость и динамичность.

Философский аргумент Дин базируется на представлении о том, что актуальный социальный порядок отмечен разрывами, трещинами и несовпадениями с самим собой. В условиях кризиса эти разрывы и пробелы становятся особенно очевидными, а желание эти разрывы устранить, преодолеть многократно усиливается. Обращение к историческому опыту освещено именно этим желанием, и поэтому история реального социализма в этой перспективе предстает не как история забытых свершений, а как история незавершенных, возможно, неудачных попыток преодоления этих разрывов,

попыток коллективности, солидарности и равенства. История реального социализма по отношению к коммунистическому горизонту – это не история того, что было сделано, это история того, что не было сделано. Это незавершенная история. Дин завершает главу «Наши Советы» призывом к написанию этой незавершенной истории советского. Эта история, в отличие от историографии сформулированной в соответствии с представлениями времен холодной войны, должна быть написана не как история краха, а как история борьбы и солидарности.

Нельзя сказать, что призыв Дин обращён «в никуда», на самом деле нет. Попыток нелиберальных историографий советского уже достаточно много, и это совсем не маргинальные работы. Я не буду на этом подробно останавливаться, но перечислю ряд авторов, которые оспаривают логику и представления о советском, сформированные холодной войной: Т. Мартин, А. Юрчак, С. Бак-Морс, А. Халид. Это все американские авторы, т. е. написаны эти работы с определенной географической и геополитической дистанции. Что касается постсоветского пространства, то нелиберальная историография советского возникает на дистанции временной. Подобный критический взгляд на советское становится возможным только к концу 2000-х, когда производительного возраста достигает поколение людей, у которых не было драматического опыта проживания в Советском Союзе. Это делает для них возможным рассматривать этот опыт отстраненно, но в то же время – в сравнении с их собственным опытом жизни в условиях неолиберального капитализма.

3. Присвоение советского правыми

Буквально две недели назад мы могли наблюдать активнейшее «творчество масс» в связи с Днем победы – украшение своих автомобилей лозунгами и поздравлениями. Советские символы присутствуют во всех этих украшениях, но особенно интересна картинка, на которой условный чело-

век с серпом и молотом вместо головы совершает сексуальные действия с человеком со свастикой вместо головы, а под картинкой слоган «Можем повторить». Украшения автомобилей подобными изображениями – это не исключительно российская забава, у нас в Кыргызстане тоже было много таких машин в начале мая. Это постсоветская массовая мобилизация памяти о советском. В центре этой мобилизации – Вторая мировая война, но не только. Один из главных тропов этой мобилизации – противостояние с Западом, своеобразный реинактмент холодной войны. Т. е. на постсоветском пространстве мы имеем дело не только с критической ревизией советского, но и с активной апроприацией советского справа; и вести какой-то разговор о советском, вынеся это правое присвоение за скобки, просто невозможно.

Либеральный анализ мобилизации памяти о советском властью сводится к мантрам о «возрождении совка», «тоталитарном мышлении масс» и т. п.левой обстоятельной критики и анализа практически нет, но есть довольно пронизательные публицистические отклики, на которые стоит обратить внимание. Артемий Магун в тексте «Commentary on Russia and Ukraine» (Telos, 11.03.2014) аннексию Крыма Россией (также сопровождающуюся активной мобилизацией памяти о советском) характеризует как правый консервативный ответ России на объективно имеющийся кризис послевоенных Ялтинских соглашений и обещаний западных лидеров Горбачёву в 1989 о нерасширении НАТО. Магун анализирует российскую реакцию на кризис послевоенного миропорядка в терминах теории международных отношений. Путинская политика располагается в логике реализма – геополитического деления зон влияния. Т. е. правый, консервативный поворот в российской внутренней и внешней политике – это в том числе ответ на достаточно недалеко-видную, да и откровенно имперскую политику США и Евросоюза.

Политика властей в целом находит отклик среди широких масс населения. Все это «творчество масс», описанное

выше, – тому подтверждение. Но и оно не лишено своих оснований и логики. В этой связи я бы хотел привести цитату из интервью А. Юрчака радиостанции «Свобода»: «Сейчас в российском обществе существует ощущение, частично сконструированное, воображаемое, а частично верное, что Запад представляет Россию и российский опыт, в том числе опыт войны и всего Советского Союза, как ошибочный исторический опыт. Советское становится репрезентацией нашего, самости некоторой идентичности» («Это будет, пока не кончится», радио «Свобода», 08.05.2015). Дискуссия об идентичности вновь становится актуальной, что также является признаком кризиса. И эта дискуссия активно запрашивает советское.

На что я бы хотел обратить внимание в связи с этим правым присвоением советского как властью, так и на каком-то массовом, низовом уровне, – на то, что это вопрошание в отношении советского абсолютно аполитично. В том смысле, что если для американских либералов советское = коммунизм, то для постсоветских консерваторов, наоборот, никакой связи советского с социализмом и коммунизмом нет. Антизападная риторика и международная политика сегодняшней России, включающая военную агрессию и аннексию Крыма, мотивируется требованием многополярного, или биполярного, во всяком случае, критикой однополярного мира, – но при этом полностью располагается в пространстве геополитики. Вопрошается гегемония США, но из какой позиции? Очевидно, что не из антикапиталистической. По большому счёту, разговор идёт о разделе зон влияния в колониальной имперской логике 19 века. Современным российским режимом оказывается затребовано геополитическое, территориальное, имперское внутри советского, но не политическая идентичность СССР как социалистического государства и как силы, предлагавшей альтернативу капиталистической системе.

Также политического содержания оказывается лишен и запрос советского в каких-то идентитарных поисках. Серп

и молот вместо головы никаким образом не представляют коммунизм, это символ советского, которое условно «наше». Исключение политического содержания советского как социалистического и делает возможным правоконсервативное присвоение советского. Неудивительно, что символами этого присвоения становятся имперская Георгиевская ленточка, призванная создать иллюзию континуума между Российской империей и Советским Союзом, и Сталин.

Интерес к советскому – очень яркий и показательный симптом кризиса, экономического и социального, который мы переживаем. В советском запрашивается возможная альтернатива, иной сценарий развития общества. В этой перспективе советское выступает одновременно и как архив, и как незавершенный проект. Этот интерес к советскому, а шире – к опыту реального социализма и иным альтернативным сценариям развития, – имеет универсальный характер. Кризис, однако, актуализирует и запрос на советское справа. А это уже специфически постсоветский аспект. Правое присвоение советского лишает советский опыт политического содержания, деисторизирует его, но в то же время бросает постсоветским левым серьезный вызов. Я бы сформулировал этот вызов так: «Как быть левым, как быть коммунистом в постсоветской Средней Азии, и при этом не быть сталинистом и путинистом?». Таким образом, наше вопрошание оказывается в этой зоне напряжения между универсальным, глобальным, и специфическим постсоветским. И оказывается очень важным удерживать эту динамику, – «двуликий Янус» левой политики должен быть обращён одновременно к этим двум сторонам, что делает нашу постсоветскую среднеазиатскую ситуацию наиболее современной, актуальной и важной.

Георгий Мамедов

Русский язык в Кыргызстане: дискурс и нарративы
(по материалам журнала «Русское слово в Кыргызстане»)

1.

Сегодня в Кыргызстане можно выделить два основных дискурса о русском языке, которые условно можно назвать «анти-русский» и «про-русский». Первый – национал-патриотический дискурс, в котором русский язык представлен как угроза кыргызскому языку, кыргызской идентичности и государственности. Однако этот «анти-русский» дискурс является все же маргинальным по отношению к умеренному «про-русскому» дискурсу, который можно назвать доминирующим. Во-первых, «анти-русский» дискурс носит откровенно популистский характер, эмоционально (зачастую пейоративно) окрашен – достаточно вспомнить комментарий депутата парламента про обезьяну, способную выучить язык, обращенный к выступавшей по-русски чиновнице правительства. Во-вторых, национал-патриотический дискурс в значительной степени оторван от реальной социально-экономической ситуации вокруг русского языка, который продолжает сохранять в Кыргызстане лидирующие, а в некоторых сферах и доминирующие позиции. И, в-третьих, умеренная «про-русская» позиция и соответствующий ей дискурс являются позицией и дискурсом политического режима. В качестве манифестации этой позиции можно привести цитату из инаугурационной речи президента Атамбаева о необходимости терпимого и постепенного внедрения государственного кыргызского языка как основного:

Исследование было проведено для публичной программы бишкекской выставки Павильона Центральной Азии на Венецианской биеннале-2011 «Lingua franca/Франк тили». Текст опубликован на сайте Штаба 17 сентября 2012

Нельзя ожидать, чтобы человек в зрелом или пожилом возрасте выучил еще один язык. Изучение государственного языка надо начинать в обязательном порядке с детского сада, с первого класса каждой школы. А государству необходимо для этого создать все необходимые условия, в первую очередь, обеспечить понятными и доступными учебниками на государственном языке. («Русское слово в Кыргызстане», № 4, стр. 7)

Несмотря на то, что русский язык в этой цитате вообще не упоминается, ее послание в большей степени посвящено именно русскому и обращено к носителям русского языка в Кыргызстане, которым президент дает понять, что будет проводить политику языковой терпимости и недискриминации. Но и, наверное, главное, – эта «про-русская» позиция отражена в Конституции КР, в которой за русским закреплен статус официального языка.

Наш анализ будет посвящен «про-русскому» дискурсу, который по вышеуказанным причинам мы считаем доминирующим. Распространенным мотивом в этом дискурсе является определение ситуации вокруг русскоязычия в Кыргызстане как болезненной, нервной, излишне политизированной. Причем эти характеристики имеют своей целью подчеркнуть нарастающий конфликт между русским и кыргызским языками, присутствие в общественном дискурсе популистских националистических анти-русских нарративов и риторик. Цель нашего анализа – продемонстрировать, что «нездоровой» ситуация с русским языком в КР является не только из-за постоянно усиливающихся национал-патриотических нападок на русский язык, но и в связи с внутренними конфликтами и противоречиями, заключенными в доминирующих нарративах самого «про-русского» дискурса. Разрешение этих конфликтов и противоречий могло бы стать первым, но существенным шагом к построению в Кыргызстане не декларативного, а действительного и действенного двуязычия, которое по праву стоит считать одним из важнейших культурно-интеллектуальных ресурсов страны. Материалом для анализа этого дискурса и выявления его ос-

новых нарративов послужил информационно-аналитический журнал «Русское слово в Кыргызстане».

«Русское слово в Кыргызстане» – ежеквартальный информационно-аналитический журнал, посвященный русскому языку в Кыргызстане. Журнал начал выходить в 2011 году, и к настоящему моменту вышло пять выпусков. Учредителем журнала является Кыргызско-российский славянский университет (КРСУ), издается журнал по гранту Фонда «Русский мир» – своеобразного российского аналога Британского совета или Гете-Института. Из приведенной выше характеристики можно сделать закономерный вывод о том, что основными носителями и производителями дискурса о русском языке в Кыргызстане являются институты и персоналии, аффилированные с государственной властью Кыргызстана и официальными российскими институтами. В этой связи может возникнуть вопрос – является ли этот дискурс единственным и доминирующим дискурсом о русском языке в Кыргызстане? Нам приходится полагаться на наш эмпирический опыт, чтобы сделать обобщенный вывод, что дискурс, представленный в журнале «Русское слово в Кыргызстане», можно считать репрезентативным для Кыргызстана в целом, т. е. другого, альтернативного, «про-русского» дискурса в Кыргызстане нет. Нарративы, выявленные нами в дискурсе «Русского слова», типичны для обыденного общения, публикаций на тему русского языка в прессе, дискуссий и обсуждений пользователей социальных сетей.

Итак, попытаемся разобраться, как и в связи с чем в Кыргызстане говорят о русском языке.

2.

Русский язык как связь с Россией и «русской культурой»

Если безотчетно довериться авторитету журнала «Русское слово в Кыргызстане», то главнейшей, если не единственной, функцией русского языка в Кыргызстане является

обеспечение связи с Россией и «русской культурой». Этот мотив кочует из текста в текст из одного выпуска в другой. О связи с Россией и мифической «русской культурой» говорят чиновники и политики:

Уверен, что на своих страницах журнал будет способствовать возвращению русскому слову достойного места в нашем сообществе и в то же время укреплять и развивать кыргызско-русское двуязычие, содействовать упрочнению дружбы и взаимодействию между Кыргызстаном и Россией. (№ 1, стр. 4) – из приветствия министра образования и науки Садыкова К. Ж.;

Народы Кыргызстана и России связывает многовековая общая историческая судьба. Кыргызстан всегда ощущал и ощущает благотворное влияние великой русской культуры. (№ 2, стр. 7) – цитата из опубликованного в журнале приветствия на открытии Дома русской книги тогда еще вице-премьера О. Бабанова.

Им вторят ученые:

Позитивное отношение местного населения к русскому языку и к России во многом способствовало конституционному закреплению русского языка как официального языка в Кыргызстане. (№ 2, стр. 18) – цитата из статьи доктора филологических наук, профессора КРСУ Тагаева.

И даже рядовые читатели, присылающие в редакцию проникновенные письма:

Познавая русский язык, я глубже познаю культуру русского народа, его душу, его мир. (№ 4, стр. 24) – делится в своем письме студент-медик Ковус Аллануров.

Связь с Россией через русский язык существует не только как риторическая конструкция, но и вполне осязательно, выражаясь в активной деятельности собственно российских и местных пророссийских институтов:

В последние годы российское правительство предпринимает энергичные шаги, подкрепленные серьезными организационными и финансовыми ресурсами, на усиление позиций русского языка за рубежом.

Большую роль сыграли также мероприятия Года русского языка, о чем шел серьезный разговор на конференции о статусе русского языка, организованной МИД Российской Федерации. В выступлении министра иностранных дел С. В. Лаврова речь шла о защите прав и интересов соотечественников в ближнем и дальнем зарубежье, о сохранении русскоязычного пространства за пределами России. Выступающие говорили о необходимости сохранения и поощрения в национальных республиках многоязычия – неотъемлемой черты любого цивилизованного государства. (№ 1, стр. 42) – сообщает нам заведующая кафедрой русского языка КРСУ профессор Шепелева Г. П.

Также, по мнению проф. Шепелевой, существование русского языка в Кыргызстане напрямую зависит от правительства России, к которому она обращается с призывом оказывать «всестороннюю помощь»:

На уровне правительства необходимо неукоснительное соблюдение Конституции, гарантирующей статус русского языка, недопущение ущемления прав и свобод граждан по причине невладения государственным языком. А еще необходима всесторонняя помощь правительства России в целях сохранения русскоязычного пространства в Кыргызстане. (№ 1, стр. 45)

Заслуженный юрист КР Ч. Т. Баева также видит острую необходимость участия России в судьбе русского языка в Кыргызстане:

...необходимо активизировать работу с российским посольством, попросить помочь учебными и методическими пособиями по русскому языку, наладить на постоянной основе подготовку и переподготовку в России преподавателей русского языка. Полагаю, что в помощи не будет отказа, так как России безразличен ареал распространения и функционирования русского языка. (№ 5, стр. 7)

Коллега проф. Шепелевой по КРСУ профессор Тагаев отмечает прямую зависимость российско-кыргызских отношений от положения русского языка в КР:

Таким образом, к сожалению, в последние годы процесс взаимодействия между русским и кыргызским языками дает сбои, что чревато негативными последствиями для кыргызско-российских взаимоотношений. (№ 2, стр. 18-19)

Если связь с Россией, которую олицетворяют российские политические институты, вроде МИДа, более или менее ясна, то «русская культура», с которой также кыргызстанцев связывает русский язык, остается понятием с неясным, смутным содержанием. Авторы, неоднократно обращающиеся к этому словосочетанию, не утруждают себя его пояснением, видимо, полагая, что «русская культура» – само собой разумеющееся, не требующее пояснений понятие:

Русский центр – это своеобразный островок России. Здесь можно найти ответы на многие вопросы, войти в мир русской культуры, получить информацию о том, как развивается Россия сегодня. (№ 1, стр. 50) – сообщает нам, например, профессор Елебесова С. А. из БГУ.

Однако некоторое представление о том, что авторы имеют в виду под «русской культурой», можно сделать из анализа литературных, художественных и др. культурных референций в материалах журнала. Самый упоминаемый литературный деятель – «наше все» А. С. Пушкин. За ним следует стандартный набор имен из школьной программы по литературе – Л. Толстой, Ф. Достоевский, А. Чехов, значительно реже – И. Бунин, С. Есенин.

Не обходит стороной журнал и другой, помимо «великой русской литературы», пласт «русской культуры» – православие. В первом выпуске журнала за 2012 год рубрика с многозвучным названием «Подвижники русского языка и культуры» рассказывает о деятельности Общероссийской общественной организации «Смирновы России», помогающей восстанавливать церкви и подарившей общественному объединению «Русские в Кыргызстане» и Русскому театру драмы в честь 140-летия Среднеазиатской епархии Русской Православной Церкви фотовыставку Геннадия Смирнова «Русский север».

Привлекает внимание также то, что Россия и «русский язык» занимают положение своего рода эталона, стандарта русскоязычия. Так, Л. Иванова в короткой заметке «Русской поэтической строкой...» следующим образом характеризует русскоязычную поэзию в Кыргызстане:

Русская поэзия Кыргызстана – это плодоносная ветвь русской культуры и русского мира в его региональном состоянии. (№ 2, стр. 30)

Писатель Турусбек Мадылай с долей самоиронии делится своим опытом знакомства с русскоязычной литературой:

Открываю книгу, а там в аннотации написано, что Чингиз Айтматов – известный кыргызский писатель. Это меня так поразило, что я долго не мог прийти в себя, не мог понять, как это может какой-то кыргыз написать книгу. (№ 1, стр. 25)

Однако рассказывая о своей методике преподавания русского языка, он уже предельно серьезен:

...я в столице России, в самой что ни на есть русской школе, испытал действенность собственной методики преподавания русского языка... (№ 1, стр. 25)

Как особое достижение отмечается заместителем министра образования КР Г. У. Сооронкуловым следующее:

Учащимся школ с преподаванием на русском языке предоставляется возможность обучиться дистантно в московской школе через Интернет по программе «Московский аттестат», подготовиться к сдаче экзаменов для получения аттестата государственного образца Российской Федерации. (№ 2, стр. 12)

Ясно и недвусмысленно об иерархии «русскости» и значении России в связи с русским языком и русскоязычием выразился исполнительный директор Фонда «Русский мир» В. Никонов, которого в своей статье цитирует проф. Тагаев:

«русский мир – это не только русские, не только россияне, не только наши соотечественники в странах ближнего и дальнего зарубежья, выходцы из России и их потомки. Это еще и иностранные граждане, говорящие на русском языке, изучающие или преподающие его, – словом, все те, кто искренне интересуется Россией». (№ 2, стр. 23)

«Билингвизм и евразийство – магистральные пути развития Кыргызстана»

Евразийство – магистральный нарратив для «Русского слова в Кыргызстане» – из пяти выпусков в трех опубликованы программные тексты о евразийстве. Евразийство является своего рода политической и идеологической основой связи с Россией:

Необходимо культивировать в сознании кыргызстанцев понимание того, что русский мир – это не только русский язык и культура, но и особый тип евразийской цивилизации, ментальности и мышления, воплотивший в себе черты западной и восточной культур. (№ 2, стр. 23)

Или:

В современной ментальности кыргызов, их языке и культуре отразилось влияние русского народа как евразийского этноса, транслятора ценностей мировой цивилизации. (№ 2, стр. 18)

Именно культурный аспект евразийства как синтеза условно западной и условно восточной культур кажется ведущим в представлениях о евразийстве в Кыргызстане, и своеобразным маяком для этого дискурса в КР является Чингиз Айтматов, которого цитирует проф. Тагаев:

«Нам сегодня, – писал Ч. Айтматов, – как воздух нужна евразийскость, иначе – тупик. Мы должны как можно скорее и дальше уйти от трайбализма, регионализма, клановости, местничества, мелкоты нашей». (№ 2, стр.22)

Доктор политических наук А. И. Токтосунова в своей обширной статье «Диалог и взаимодействие – основа мышления народов Евразии (История, настоящее и будущее евразийства)» дает следующую характеристику современного евразийства:

Сегодня евразийцы вкладывают в понятие «Евразия» не континент в сугубо географическом понимании, а некую цивилизационно-культурную целостность, построенную на основе синтеза двух миров – восточного и западного. (№ 4, стр. 15)

Доктор Токтосунова также дает краткий исторический очерк евразийства, в котором называет всех отцов-основателей течения. К евразийцам доктор Токтосунова относит также Ивана Ильина (хотя в ее тексте указаны неверные инициалы – В. Н. вместо И. А.). И. Ильин – любимый философ В. Путина, в строгом смысле не был евразийцем, но его взгляды оказывали и оказывают сильное влияние на консервативных русских мыслителей. Идеалом политического устройства для него была империя. Ильину принадлежат положительные отзывы о фашизме, который он считал «здоровым явлением», противостоящим большевизму и «левому тоталитаризму».

Упоминает доктор Токтосунова и лидеров современного евразийства:

Последователи первых евразийцев сформировали целое направление в науке, получившее название «нео-евразийство». Оно имеет несколько разновидностей, подчас противоположных по целям и основным идеям. Одна из них – течение национальнй идеократии имперского континентального масштаба. Его представители А. Дугин, А. Панарин, Б. Ерасов и др. основываются на идеях П. Н. Савицкого, Г. В. Вернадского, Н. С. Трубецкого, Л. Н. Гумилева, противостоящих либеральному западничеству и узкоэтническому национализму. Задачу России они видят в создании евразийского социализма – особой формы государственности, основанной не на культуре нации, а на общих ценностях и принципах. (№ 4, стр. 15)

Кыргызстанские адепты евразийства не фокусируются на политической или экономической платформах этого движения, не говорят о его воинствующей консервативности, однако и в своем «региональном состоянии» евразийство являет свою эссенциалистскую и сегрегационную подоплеку. В исторической перспективе:

Возник особый туранский этнопсихологический тип, присущий кочевым народам Азии. Для него, в частности,

характерны приоритет духовного над материальным, стремление к четко очерченным границам мировоззрения, устойчивым ценностям и формам самосознания.

Эти черты в равной степени присущи и русскому народу, что позволяет говорить об общности ряда качеств этнической психологии русских и туранцев (тюрков), а также о туранском элементе в русской культуре (Н.С. Трубецкой). (№ 4, стр. 12)

И применительно к сегодняшнему дню:

Несколько поколений кыргызов на уровне сознания обрели мировосприятие и ментальность, которые можно назвать евразийским взглядом на мир. (№ 2, стр. 21-22)

Киргизы vs. кыргызы

Билингвизм представляется авторам и редакции журнала «Русское слово в Кыргызстане» идеальной моделью языковой ситуации для КР:

В нашей стране в результате двухвекового культурного и экономического взаимообогащения де-факто сложились кыргызско-русское двуязычие и своеобразная общая кыргызско-русская культура (в широком смысле этого понятия). (№ 5, стр. 19)

Однако сосуществование двух языков, каждый из которых претендует на роль доминирующего, несет в себе потенциал конфликта. Суть этого межъязыкового конфликта в терминах социолингвистики проясняет аспирантка из Франции И. М. Масдьё:

Таким образом, вследствие интенсивного вмешательства [в советское время] в языковые процессы и проведения политики русификации русский язык становится «высоким идиомом» (или «доминирующим языком»), приобретает надэтнический характер престижного языка и имеет широкий спектр общественного использования, а национальные языки, как например, кыргызский, становятся «низкими идиомами» (или «доминируемыми языками») с ограничением общественных функций.

С распадом же СССР и получением независимости, бывшие республики, в том числе Кыргызстан, сталкиваются с довольно сложной языковой ситуацией: с одной стороны многоязычие, а с другой, – официальное господство русского языка. И именно в этих условиях возникает еще один языковой конфликт, целью которого является смена прежних диглоссических отношений. (№ 4, стр. 64)

Профессор Тагаев указывает на то, что языковой конфликт может стать основой для конфликта социального:

Воспитание и образование детей совершается в разных культурно-языковых пространствах, в результате чего формируются личности с разными взглядами на мир и разной ментальностью. Не случайно, в обществе появились понятия **кыргыз** и **киргиз**, обозначающие эту реальность. Между этими общественными группами уже вызревают семена противоречий и возможных конфликтов. (№ 5, стр. 18)

Тот же проф. Тагаев в другой своей статье дает распространенное определение различию между «киргизами» и «кыргызами»:

В сознании моноязычных кыргызов слова «кыргыз» и «киргиз» эксплицировали два концептуальных понятия, соотносительные с двумя лингвокультурными типажам. Слово «кыргыз» призвано было подчеркнуть индивидуальность и самобытность «истинного» кыргыза, в то время как лингвокультурный типаж «киргиз» ассоциируется, как правило, с языковой личностью, для которой русский язык практически стал родным, а окружающий мир воспринимается и оценивается ею через призму русской культуры. (№ 2, стр. 20)

Обращает на себя внимание следующая фраза: [личность], для которой русский язык **практически** стал родным. Это осторожное практически указывает на то, что помимо явного конфликта между носителями кыргызского и русского языков, борющихся за доминирующее влияние в языковой практике, существует скрытый или не столь явный конфликт в отношении уже самого русскоязычия кир-

гизов. Это конфликт между наличной языковой ситуацией, в которой для большого количества людей, считающих себя киргизами или определяемых таковыми другими, родным языком (т. е. преимущественным языком речевой практики) является русский, и доминирующим общественным мнением по поводу этой ситуации, которое ее осуждает или относится к ней с настороженностью как к ситуации отклонения от этнической нормативности. Даже про-русскому евразийцу проф. Тагаеву невыносимо сложно представить, что русский язык может быть не *практически*, а единственным родным для человека с неславянским происхождением. Идеальным же, в его представлении, «лингвокультурным типажом» является следующий:

Билингвизм, который базируется на родном языке (речь идет о киргизском языке – Г. М.) и ценностях родной культуры, создает особый тип евразийской цивилизации, ментальности и мышления, воплотивший в себе черты западной и восточной культур. (№ 2, стр. 21)

Доминирующее мнение о русскоязычии киргизов как девиации заставляет киргизов-носителей русского языка испытывать чувство вины, требующее оправдательных оговорок. Прозаик-фантаст Улан Дуйшеналы-Марипат почти заговорщически сообщает читателям:

Откровенно говоря, я свободнее пишу на русском, чем на кыргызском, тем более что научно-фантастические произведения сложно писать на кыргызском языке. (№ 5, стр. 60)

Эта амбивалентность в отношении русского языка проявляет себя не только на уровне общественного мнения, но и на институциональном уровне, отражаясь в неоднозначном толковании статуса «официального языка». Русский как официальный язык используется во всех сферах жизни в Кыргызстане, включая государственное управление. На русском, так же как и на кыргызском, проходят заседания парламента и правительства, совещания у президента. Однако и на уровне общественного сознания, и юридически между государственным и официальными языками закреплена чет-

кая иерархия, согласно которой статус официального языка ниже государственного. На это обращает внимание аспирантка Масдье:

...ситуация с русским и кыргызским языками складывается довольно неоднозначно. С одной стороны, оба языка имеют официальный статус, закрепленный Конституцией страны, где кыргызский признан государственным, а за русским закреплен статус официального языка. Казалось бы, проблем не должно существовать, поскольку понятия «государственный язык» и «официальный язык» очень часто понимаются как равнозначные. Во всяком случае, в странах Западной Европы юридически такие языки имеют равные права. Но на территории Кыргызстана синонимичными эти понятия вряд ли назовешь. Если подробно проанализировать Конституцию и законы о государственном и официальном языках, то в юридическом смысле видны явные отличия в статусе и регламентации этих двух языков. (№ 4, стр. 60-61)

3.

Тот факт, что русскоязычие в Кыргызстане исключительно и настойчиво связывается с Россией – как риторически (русская культура), так и институционально, – способствует **укреплению отчуждения в отношении русского языка в обществе**. Похожее отчужденное общественное мнение было сформировано в Кыргызстане в отношении социальной инфраструктуры советского времени. В обществе доминирует представление, что социальное обеспечение, доступные и качественные медицина и образование, являвшиеся нормой в советское время, существовали исключительно за счет центральной власти, а не являлись результатом труда нескольких поколений людей, в том числе и в первую очередь самих жителей Кыргызстана.

Общественное мнение, что советская социальная инфраструктура существовала исключительно за счет и в интере-

сах Москвы, настолько прочно утвердилось, что попытки неолиберальных реформ, предлагающих коммерциализацию образования, медицины, значительного (если не полного) сокращения социальных обязательств государства, не встречают никакого серьезного сопротивления в обществе. Настойчивое увязывание русскоязычия в Кыргызстане с Россией наряду с почти полным отсутствием нарративов, рассматривающих русский язык как один из кыргызстанских автохтонных языков, как локализованный и органичный элемент кыргызстанского культурного ландшафта и как важнейшей медиум коммуникации и самовыражения для значительной части населения Кыргызстана, закрепляет схожее с описанным выше общественное мнение: русский язык в Кыргызстане существует благодаря финансовой поддержке и в интересах России, и если эта финансовая поддержка прекратится, а Россия потеряет интерес к Кыргызстану, то и необходимости в русскоязычии в КР не будет.

Эта отчужденность в отношении русского языка позволяет утвердиться такой иллюзии, что русский может быть постепенно заменен английским, в качестве языка образования и интернациональной коммуникации. Однако в Кыргызстане узус русского языка не ограничен исключительно этими двумя функциями, которые английский и так уже отчасти выполняет. Русский язык, в отличие от английского, имеет массовое, а не ограниченно-элитистское распространение и используется во всех сферах жизни – на нем мамы и папы поют своим детям колыбельные, пишут монографии ученые, влюбленные признаются друг другу в своих чувствах, пишутся и принимаются республиканские законы. Таким образом, русский язык – органичная часть современной кыргызстанской культуры.

Если не будет сформировано иное общественное мнение о русском языке, а именно как об общественном и культурном достоянии Кыргызстана, о русскоязычии как о полноценной, а не вторичной (региональной) по отношению к российской практике, русский язык ждет та же судьба, что

и бывшую общественной советскую государственную собственность – он будет «приватизирован» исключительным меньшинством и из общественного достояния превратится в маркер правящего класса и властных элит.

Не менее тревожным является то, что русскоязычие в Кыргызстане в общественном сознании прочно ассоциируется с **евразийством – агрессивно-консервативной эссенциалистской идеологией**. Имперско-шовинистский евразийский дискурс усугубляет и закрепляет колониальные коннотации развития и функционирования русского языка в Кыргызстане. Несмотря на то, что риторики о русском языке как языке модернизации, прогресса и эмансипации имеют место в дискурсе, но по отношению к нарративу о русскоязычии как основе евразийства они маргинальны и скорее инерционны.

Из приведенных во второй части цитат становится очевидным, что за нарративами, прочно связывающими русскоязычие в Кыргызстане с «русской культурой» и «Российской империей», стоит серьезная государственная институциональная поддержка, и значит, они имеют все шансы еще долго оставаться определяющими для про-русского дискурса в КР. В такой ситуации самой минимальной задачей, которую могут себе поставить левые, прогрессивные и эмансипаторно настроенные силы – это начать работать над созданием и утверждением в общественном сознании нарративов о русском языке, альтернативных доминирующим имперско-консервативным нарративам.

Ситуация же вокруг конфликта «киргизов» и «кыргызов», т. е. разделения общества по языковому признаку коренится в **исключительно популистском подходе к языковой политике**. Несмотря на наличие законов о развитии билингвизма, никаких реальных и прагматических шагов в этом отношении не предпринимается. Даже очевидные меры – улучшение качества преподавания кыргызского и русского соответственно в русскоязычных и кыргызоязычных школах – остаются не более чем декларацией о намере-

ниях. Разделение общества по языковому признаку кажется выгодной для правящих элит ситуацией, так как позволяет им манипулировать общественным мнением, попеременно актуализируя то национал-патриотическую, то «интернационалистскую» риторику.

Данную ситуацию будет возможно изменить, если удастся утвердить в общественном сознании необходимость предъявления требования к государству реализовывать языковую политику, **объединяющую** людей на основе двуязычия (а в идеале – многоязычия), а не разделяющую общество на антагонистические группы. Причем, сделать некоторые практические шаги в этом направлении не составляет особой финансовой и институциональной сложности. Например, начать внедрение практики субтитров. Все фильмы и телевизионные передачи, демонстрирующиеся на одном из основных языков (русском или кыргызском), сопровождать субтитрами на другом. Это способствовало бы созданию единого культурного и информационного пространства, т. к. обе языковые группы имели бы доступ к одной и той же информации, к одному и тому же культурному контенту.

Оксана Шаталова

Без исключенных: феноменология
социалистического города. Фрунзе/Бишкек

В проекте «Бишкек: хроники радикального воображения» Штаб исследовал принципы создания советского жилого микрорайона – на примере 6-го микрорайона в Бишкеке. Микрорайон есть планировочная модель, важная для понимания концепта «социалистического города». Этот концепт мы рассматривали в аспекте, обозначенном нами как «продуктивность утопии» и определяемом как: материальное преобразование городского пространства в целях преобразования пространства социального.

Задача данного текста – проследить попытки реализации утопического потенциала города в контексте Фрунзе/Бишкека. Я рассмотрю три аспекта: 1) масштабность строительства; 2) серийность строительства; 3) функциональная рациональность городской планировки. Эти взаимообусловленные аспекты жилищного строительства СССР 1950-1980-х гг. должны были решать следующие задачи: всеобщего доступа к жилью; всеобщего доступа к комфортному жилью; всеобщего доступа к материальным и культурным благам.

1. Масштабность

Коммунистическая утопия подразумевает социальную инклюзивность и социальное равенство, – в контексте урбанистики это доступ к жилью и прочим городским благам для

Полная версия текста опубликована в книге: Бишкек утопический: сборник текстов / Сост. и ред. Г. Мамедов, О. Шаталова. Бишкек: Штаб, 2015. 206 с.

100% горожан, без какой-либо их «естественной» или намеренной фильтрации. Т. е. подразумеваются преобразования, в том числе строительство, больших масштабов. Продуктом такого беспрецедентно массового строительства и стали микрорайоны, бессчетными кубиками размноженные, по всей, как тогда называли СССР, «одной шестой части суши». Однако чтобы понять, как развивались эти процессы 50-80-х гг., нужно упомянуть их предпосылки, проявившиеся на десятилетия раньше.

Дискуссия о соцрасселении

В 1929-1930-х гг. – когда был свернут НЭП и начата индустриализация – активно обсуждалось составление первого генерального плана развития народного хозяйства СССР. В рамках этого обсуждения в Москве разразилась бурная дискуссия о новых городах – так называемая «Дискуссия о социалистическом расселении», проходившая как в печати, так и в форме публичных диспутов. Тогда и утвердился термин «*социалистический город*», идеал новой организации обитаемого пространства и антипод города капиталистического, – последний все дискуссанты дружно критиковали за непомерное разрастание, перенаселение, антисанитарию и сверх-концентрацию культурной жизни по сравнению с селом. Но в точке обсуждения нового социалистического города мнения разделялись. Одна сторона – так называемые *урбанисты* (самый известный – экономист Леонид Сабсович) – видели будущий город аграрно-индустриальным, объединяющим промышленность и сельское хозяйство. Как мегаполисы, так и деревни должны исчезнуть, породив среднее арифметическое с числом жителей 50-60 тысяч. Состоят новые поселения будут из «жилых комбинатов» – огромных зданий на 2-3 тыс. человек, включающих индивидуальные спальни и общественные помещения – столовые, библиотеки, клубы, спортзалы. От промышленных предприятий жилкомбинаты отделены зеленой полосой. Традиционных

улиц и кварталов нет, дома редко разбросаны в парках среди зелени. Эта концепция Сабсовича и закрепились собственно под формулой «социалистический город», «соцгород» в узком смысле.

Другая сторона – дезурбанисты (наиболее известен Михаил Охитович) – были более радикальны. Они критиковали грузные жилкомбинаты Сабсовича и предлагали вовсе отказаться от города, порождения капиталистических отношений. При социализме город должен рассеяться на отдельные атомы-домики. Дезурбанисты провозгласили лозунг: «*Не дом-коммуна, а коммуна домов*» и ратовали за так называемое «ленточное расселение»: благодаря развитой транспортной сети можно равномерно селиться вдоль дорог индивидуальными коттеджами. Коттеджи сборно-разборные, что придает каждому члену общества мобильность, – каждая или каждый может по желанию приближаться или отдаляться от других. Вся инфраструктура однородно распределяется вдоль транспортных путей. Тоже много растительности.

Важно отметить, что дискуссанты были не уличными мечтателями, а фактически государственными чиновниками – и Сабсович, и Охитович работали в Госплане.

В целом, и урбанисты, и дезурбанисты имели общие идеалы: уничтожение «разницы между городом и деревней» и равномерность распределения промышленности, а также материальных и культурных благ, по всей территории советской республики.

Дискуссия длилась до тех пор, пока в мае 1930-го не была остановлена окриком партии, – в постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) «О работе по перестройке быта» подобные концепции были заклеены как «полуфантастические». Из всех идей дискуссантов власть реализовала, пожалуй, только идею «равномерного распределения», исходя при этом из приоритета индустриализации. Т. е. в 20-30-х годах, во время форсированной индустриализации, массовое строительство осуществлялось, но это было строительство не жилое, а промышленное.

Норма жилплощади

История «квартирного вопроса» в СССР полна драматических поворотов. Начинается эта история сразу после революции, когда была упразднена частная собственность на жилье, и весь жилой фонд передан местным советам. Значительная часть населения обитала тогда в тяжелых, иногда чудовищных, жилищных условиях (например, в рабочих казармах). Встал вопрос распределения жилья. Исходя из принципа социального равенства, – как разделить жилье между всеми, если квартир на всех не хватает? Прибегли к помощи математических абстракций. Жилье стали мыслить не квартирами или комнатами, а квадратными метрами. Появилось понятие «санитарная норма жилой площади», определявшее минимальную площадь в замкнутом помещении, на которой человек мог пребывать без вреда для здоровья (это и есть то, что антикоммунисты называют «уровниловкой» – чисто антропологический критерий распределения). Жилищно-санитарная норма впервые была введена Наркомздравом РСФСР в 1919 году и составляла 8,25 кв. м. на человека, а в 1922 году была увеличена до 9 кв. м. Послеревolutionционная драма квадратуры получила название «уплотнение» – неимущих стали массово подселать к бывшим имущим; тогда и распространилось понятие «коммунальная квартира». За первые десять лет советской власти только в Москве в благоустроенные квартиры переехало примерно полмиллиона человек. Однако жилищная ситуация продолжала оставаться критической: перед хрущевским строительным бумом лишь 30% квартир заселялось семейно; большинство проживало в коммуналках, бараках и общежитиях. Наконец, в середине 50-х гг. Хрущев объявил приоритетной задачей массовое строительство доступного жилья. В 1954 году на «Всесоюзном совещании строителей, архитекторов и работников промышленности строительных материалов...» Хрущев провозгласил ориентацию на индустриальное (поточное) домостроение и развитие со-

ответственной промышленной отрасли. В 1955 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», осуждавшее дороговизну и неуместную декоративность сталинской архитектуры. В постановлении же 1957 года «О развитии жилищного строительства в СССР» признавалось, что темпы жилищного строительства отстают от промышленного, и ставилась задача: *«в ближайшие 10-12 лет покончить в стране с недостатком в жилищах»*.

Формула хрущевского жилищного бума была такова: типовое проектирование плюс индустриальное домостроение. Курс на массовость предполагал не красоту и торжественность архитектуры (ориентиры сталинского времени), а на радикальное удешевление – на это и была отныне направлена архитектурная фантазия. Жилой дом «оптимизировали» по всем статьям. Убрали лифт, получив классическую пятиэтажку, т. к. по медицинским показаниям можно подниматься пешком без вреда для здоровья не выше 5 этажа. Сокращали, урезали и снижали всё, что можно. В институте «Киргизгипрострой» следующим образом проектировали жилую серию 213: снизили высоту потолка до 2,5 м, совместили санузел, уменьшили ширину маршей лестничных клеток, исключили угловые секции. Эти и другие усилия позволили снизить стоимость строительства на 30%. Оптимизировался – посредством конвейеризации – и строительный процесс. ДСК («домостроительные комбинаты», заводы крупнопанельного домостроения) и изготавливали железобетонные плиты, и собирали из них дома. В 1965 году был запущен Фрунзенский ДСК, производивший в основном четырехэтажки общесоюзной серии 1-464А/62 и отличавшийся мощностью 85 тыс. кв. метров. Второй Фрунзенский ДСК, производивший уже местную серию 105, открылся в 1972 году и отличался существенно возросшей годовой мощностью – 200 тыс. кв. метров жилой площади. Уже к концу 50-х годов Советский Союз вышел на первое место в мире по темпам жилищного строительства. В Киргизии, как и по

всему СССР, происходили кардинальные изменения жилищной ситуации: «За десять лет – с 1955 по 1964 г.... горожане и жители рабочих поселков получили 136000 квартир... Переехали в новые дома или улучшили жилищные условия около миллиона человек – почти 40 процентов всего населения республики» (Нусов В. Архитектура Киргизии с древнейших времен до наших дней. Фрунзе, 1971).

Микрорайон № 6 также был возведен довольно быстро, приблизительно за два года (1972-1974). Усилия строителей были неизменно направлены на повышение степени сборности зданий, т. е. на ускорение строительства. С этой целью практиковались эксперименты: например, с завода привозили стеновые панели уже с остекленными окнами или – другая новация – готовые санкабины, облицованные внутри плиткой. Нередко эксперименты оказывались неудачны (в ряду причин называется воровство материалов со стройплощадок), но стремление строителей повысить производительность труда никогда не угасало. Скорость в любом случае была впечатляющей: один 48-квартирный дом в 6-ом микрорайоне возводился за месяц (из интервью Штаба с Шафиковым С. С. (руководителем ДСК в 70-х гг.), Джоотумановым А. Н. (руководителем ДСК «Азат»), ноябрь 2014).

Итого, жилищный бум работал на реализацию принципа абсолютной инклюзивности. В 1977 году в Конституции СССР появилась статья «право на жилище», провозглашавшая «справедливое распределение под общественным контролем жилой площади...». Бесплатно получить квартиру мог любой трудящийся – от предприятия или по месту жительства, – собрав определенные документы и доказав свою потребность в жилье. Скорость получения квартиры варьировалась – от месяцев до многих лет – в зависимости от ряда обстоятельств: места проживания, работы, наличия льгот. Расчеты велись опять же относительно нормы жилой площади. Минимальная всесоюзная норма была 9 кв. м., но союзные республики могли ее поднимать, – в Киргизии она составляла 12 кв. м. Власть постоянно обещала увеличить за-

ветную квадратуру. В 1971 году прогнозировалось, что к 1995 году общесоюзная норма составит 13 кв. м. на человека. В утопической же перспективе понятие жилищной нормы выдвинулось временным: в будущем, когда «квартирный вопрос» утратит остроту, это понятие исчезнет за ненадобностью. Фрунзенский архитектор Валентин Курбатов в 1972 году прогнозировал, что в 1980 году в СССР общепринятой нормой станет формула «число комнат в квартире равно количеству членов семьи». А в 2000 году, по мнению Курбатова, «число комнат в жилой ячейке (квартире) будет на одну больше, чем число членов семьи» (Курбатов В. Архитектура городского жилища. Учебное пособие. Фрунзе: 1972) – отдельная комната для каждого плюс общая гостиная.

2. Серийность

Индустриальное строительство по определению не могло производить уникальные объекты. Поэтому социалистический город состоял из «произведений искусства в эпоху его технической воспроизводимости», т. е. из типовых строений.

Здесь вновь стоит вернуться в 20-30-е гг. Концептуально «стандартные города» были освоены уже тогда – и не просто осмыслены как необходимость, но восславлены. Ввиду колоссального авторитета марксизма всеобщим символом веры сделались «средства производства», в частности, индустриальные средства производства – техника, гарант мессианской роли пролетариата. Культ науки и машинного производства, анти-ремесленничество, техницизм, тейлоризм сплелись в один ценностный узел. Прежде всего, конечно, вспоминается Ле Корбюзье: «Надо создать дух серийности – стремление строить дома сериями, стремление жить в серийных домах, стремление проектировать дома как серии» (Le Corbusier. *Vers une architecture* (1925)). Цит. по: Иконников А. Искусство, среда, время. Эстетическая организация городской среды. М.: Советский художник, 1985). В СССР

участники дискуссии о социалистическом расселении также ратовали за индустриализацию градостроения: «Перейдем на машинное производство, производство стандартных элементов – на производство круглый год. От сооружения зданий – к сборке частей» (Куда итти? Современная архитектура. 1930. № 1-2).

Эстетика серийности

Осмыслялась новая образность – эстетика стандарта и конвейера. Основную проблему этой новой эстетики, позже ставшую роковым клеймом типового строительства – «монотонность», «одинаковость» – сознавали уже в 20-30-е гг. и пытались снять посредством приема комбинаторики. Именно так авангардисты предлагали строить новые города: «Из... стандартных элементов собираются различные строения... Различные по форме плана, по пропорциям, освещению и др. При действительной механизации – отсутствие механического однообразия, казарменности» (Барщ М., Владимиров В., Охитович М., Соколов Н. Магнитогорье. Современная архитектура. 1930. № 1-2).

В хрущевское время эти тезисы повторялись. Новое понимание архитектуры – как инженерии и науки, а не как «искусства» – не отменило эстетических параметров, но лишь пересмотрело их. Так, в выступлении одного из ораторов на «Всесоюзном совещании строителей, архитекторов и работников промышленности строительных материалов...» (1954) художественные претензии архитектуры сначала высмеиваются, но затем подтверждаются, хотя и в измененном формате: *«Многие архитекторы... не понимают, что культура жилых зданий определяется не парфюмерными украшениями их фасадов, а удобствами квартир. Слово «архитектор» означает главный строитель, а наши архитекторы отгораживаются от строительства... Ныне... не встретишь надписи архитектор-инженер. Зато архитекторам льстит, когда их называют архитектор-композитор.*

(Смех в зале). Архитекторы любят повторять известное изречение Гёте о том, что архитектура — застывшая музыка. Если архитекторы сравнивают себя с музыкантами, то они должны быть последовательны и не строить обычный дом из девятисот типоразмеров керамических камней. Музыкальная практика уже в течение нескольких веков пользуется системой двенадцати различных звуков в октаве, причем, как известно, только семь из них являются основными. (Аплодисменты, смех в зале). Жизнь показывает, что из ограниченного числа стандартных элементов можно создать бесконечное разнообразие архитектурных форм» (газета «Правда», 8 декабря 1954).

Но эта «лего-опция» не получила распространения: само понятие «бесконечного разнообразия архитектурных форм» противоречит идее типового проектирования. Обсуждалось и другое решение, а именно: более софистицированная комбинаторика «второго уровня», – когда роль компонентов выполняют готовые здания, собираемые в целое – жилой комплекс, микрорайон, город. Такие идеи также восходят к Корбюзье, считавшему, что эстетическими качествами должен обладать не «дом в себе», а комплекс зданий, свободно группируемый в пространстве.

Учитывая подобные риторические ходы, а также феноменологию типового жилья, можно заключить, что эстетика хрущевок была синхронна (пост)модернистской эстетике, предъявляя джентльменский набор ее симптомов. Это эстетика копии (у типового дома нет оригинала), эстетика коллажа (комбинации, сборки готовых форм), эстетика серийности и тиражности, эстетика редукционизма и аскетизма, наконец, эстетика анонимности, – не умозрительная, как в трактатах постмодернистов, а вполне реальная смерть автора (у таких скучных строений не может быть творца; признаки креативности стерты с этих нейтральных стен). Хрущев, бранивший искусство «абстракционистов» на выставке в Манеже, множил по всей территории Советского Союза гораздо более радикальные объекты. Но он не был «автором»

этих произведений; бессознательное модернизма вылилось в СССР в симптомы рутинного строительства, миновав сферу институционализованного искусства. Причем население и воспринимало типовые дома как проект эстетический, оценивая его не согласно функционалистской природе (машины для жилья), а как объект художественный, порицая отсутствие «парфюмерных украшений», требуя от архитектуры исполнения художественного долга. Самое популярное наименование панельных пятиэтажек – «монотонные», «серые», «скучные» – есть собственно эстетическая оценка. Эстетика же геометрических форм таковой не опознавалась. Рутинная нелюбовь населения к типовым жилищам сродни такой же рутинной нелюбви к «Черному квадрату», к модернизму вообще, – сродни отказу принимать его за «настоящее искусство». Тот же факт, что миллионы советских граждан получили приемлемое жилье – в том числе благодаря «монотонности» этого жилья (вернее, факторам, обусловившим его монотонность), – обычно при этом не вспоминается. Таково суггестивное воздействие модернистских форм.

Киргизская 105

Впрочем, в Кыргызстане отношение к типовому жилью нельзя назвать однозначно скептическим. Архитектурная мысль советской Киргизии произвела феномен, который бишкекцы до сих пор воспринимают с симпатией – крупнопанельную серию «Киргизская 105», разработанную местными специалистами в начале 70-х гг. (проектный институт «Киргизгипрострой», архитекторы: Е. Писарской, В. Седов, инженеры: В. Мозговой, А. Афонин, А. Кокорин, А. Тэвс). В советской архитектурной литературе эта серия, – удостоенная в 1978 году Государственной премии Киргизской ССР, – описывается как безусловное достижение по нескольким причинам. Во-первых, серия была разработана в соответствии с местными климатическими условиями и харак-

теризовалась высокой сейсмостойкостью (до 8-9 баллов). Во-вторых, отличалась «лего-эффектом», вариативностью (дома пяти- и девятиэтажные, секционные и галерейные, со встроенными магазинами и учреждениями быта; квартиры от одно- до пятикомнатных). В-четвертых, характеризовалась более оживленным фасадом (декором балконов, лоджий, входов). В-третьих, улучшенной планировкой и комфортностью квартир (увеличенная высота потолка, пропорции, зонирование).

«Киргизская 105» приобрела такую популярность, что предыдущую серию 1-464АС население ретроспективно переименовало в «104-ую» (т. е. 105-ая стала абсолютным ориентиром); это народное название закрепилось и используется до сих пор.

«Киргизская 105» воспринималась современниками с энтузиазмом, поскольку обещала исполнение соцзаказа на комфорт. Население обеспечивалось жильем с нарастанием не только количественных, но и качественных показателей, – архитекторы с воодушевлением констатировали «повышение материального благосостояния народа». 105-ая серия давала повод свидетельствовать успешность индустриализации строительства – как отмечали фрунзенские архитекторы Е. Курбатов и В. Писарской, *«окончательный переход на новую, более высокую ступень в развитии жилищной архитектуры...»* (Курбатов В., Писарской Е. Архитектура города Фрунзе. Фрунзе: Кыргызстан, 1978).

3. Рациональность

Свежие постройки, как правило, дышали свободно – разворачивались новыми районами на свободных городских землях, а не расталкивали локтями старую застройку (как это происходит в Бишкеке сейчас). Поэтому вопрос планировки неотъемлем от проблематики массового строительства. В частности, нас интересует планировка микрорайона, базовой градостроительной единицы советского города.

На практике эта планировка была обусловлена не столько эстетическими, сколько сугубо прагматическими факторами. А именно, количеством жителей и расчетом их возможных потребностей: микрорайон проступал на картах как итог подобных калькуляций. Системообразующим в данном контексте являлся социальный заказ на доступ к учреждениям, как говорили в советское время, «соцкультбыта».

В 20-30-х гг. эта проблема также понималась как первостепенная. Планировщики соцгородов скрупулезно продумывали конфигурации социально-бытовой инфраструктуры. Жилкомбинаты Сабсовича совмещали жилье с инфраструктурой буквально под одной крышей. Дезурбанисты же планировали обитаемую среду следующим образом (на примере проекта Магнитогорска). Домики «ленточного расселения» располагались вдоль 25-километровых магистралей. На конце каждой магистрали находились магазины и санитарные учреждения, а в центре магистрали – «Дорожный парк культуры» с музеем, кинотеатром, врачебной консультацией и выставками товаров, которые можно заказать по каталогу. Самым необходимым потребностям отвечали «километровые станции», расположенные через каждый километр и включавшие столовую, читальню, комнату отдыха, парикмахерскую, спортплощадку и т. д. Авторы проекта подробно рассчитывали количество пассажиро-километров в день (транспорт в их схеме играл решающую роль). Они предполагали, что километровой станцией житель пользуется несколько раз в день, в парк культуры ездит почти каждый день, в конец дороги – один раз в 5 дней. Т. е. различались потребности первичные, повседневные, периодические и так далее. Подобным же образом Корбюзье в «Афинской хартии» делил потребности населения в отдыхе на «повседневные», «еженедельные» и «ежегодные» и на основании этой классификации предлагал разные форматы расположения озелененных территорий. В целом, как заявлял Корбюзье, *«Архитектура группирует жилища в крупные комплексы на основании точных расчетов»* (Ле Корбюзье.

Афинская хартия // Три формы расселения. Афинская хартия. М.: Стройиздат, 1976), а также: «Плотности населения городов должны устанавливаться законом» (Там же).

Ступенчатая система обслуживания

«Точный расчет» количества жителей, а также иерархий их потребностей и лег в основу микрорайона как базовой единицы социалистического города. Расположение объектов инфраструктуры рассчитывалось так, чтобы все без исключения жители имели к ним легкий доступ. Значение имело расстояние от жилых домов до объектов инфраструктуры – те и другие «расставлялись» на плане в соответствии с этим принципом, – как тогда говорили, «свободно» (так наз. «свободная планировка»). Дома внутри микрорайона могли компоноваться самым причудливым образом, улиц в привычном смысле не было: фактор собственности на землю отсутствовал, соответственно, отсутствовала и необходимость разграничивать/маркировать земельные участки, как при классической квартальной застройке.

Принцип расчета потребностей населения назывался «ступенчатой системой обслуживания» и потенциально расширялся на весь город, – микрорайон в этом смысле являлся эталоном. В СССР существовали незначительно различающиеся вариации этой системы; ниже перечислены параметры и нормативы, изложенные в учебнике В. Курбатова «Архитектура городского жилища», изданном во Фрунзе в 1972 году.

Жилая группа (0-ая ступень): несколько рядом расположенных жилых домов на 1,5-3 тыс. человек. Вблизи домов жилой группы находятся учреждения первичного обслуживания, такие как ясли-сад, столовая, ЖЭК, «помещение коллективного отдыха», «помещение, оборудованное торговыми автоматами», «пункт доставки продуктов на дом» (последние два или даже три пункта – скорее, мечта о будущем, чем заурядная реальность микрорайона). Расстояние до

этих учреждений от всех домов жилой группы – не больше 150-200 м, т. е. 2-3 минуты пешей прогулки.

Жилой микрорайон (1-ая ступень): состоит из нескольких жилых групп и является базовой градостроительной единицей с населением 6-18 тыс. человек. В каждом микрорайоне работают учреждения 1-ой ступени, т. е. первичного и повседневного обслуживания: школы, детские сады, столовые, магазины товаров первой необходимости, службы быта, спортплощадки, помещения для самодеятельности и культурного досуга. Максимальный радиус обслуживания – 500 м, или 5-7 минут прогулки пешком. Микрорайон запрещено разрезать маршрутами общественного транспорта.

Жилой район (2-я ступень): состоит из нескольких микрорайонов, проживают 25-60 тыс. человек. Включает учреждения первичного, повседневного и периодического обслуживания: дома культуры, кинотеатры, библиотеки, кафе, торговые центры, учреждения связи, поликлиники, роддома, гаражи и т.д. Доступность для всех жителей жилого района – максимум 1500 м, или 15-20 минут ходьбы. Расстояние между жилыми районами – минимум 100 м. Через жилой район нельзя прокладывать скоростные дороги.

Городской центр (3-я ступень) – масштаб города. Эта ступень включает учреждения эпизодического обслуживания: административные здания, театры, музеи, рестораны, гостиницы, больницы, вузы и др. Их посещение осуществляется при помощи транспорта.

Пригород (4-ая ступень): также учреждения эпизодического обслуживания: пансионаты, «летние городки отдыха», пионерские лагеря, дома отдыха, санатории, туберкулезные и психиатрические лечебницы.

Микрорайоны стали строиться во Фрунзе с начала 1960-х гг. Территория на юго-востоке, не отягощенная многоэтажной застройкой, стала своего рода чистым листом и полигоном отработки вышеизложенной схемы. Несколько микрорайонов на этой территории составили «юго-восточный

жилой район», в состав которого входил и № 6, расположенный в южной части и довольно наглядно воплощавший данную схему. Например, в пределах 6-ого работало одновременно несколько детских садов, что являлось нормой для советского микрорайона, где детсады активно множилось именно согласно «ступенчатой системе».

Подобная строго рациональная система, ориентированная на тотальность доступа к благам, использовалась на всей территории СССР, обустривая бесчисленное количество жилых микрокосмов. Помимо доступа к объектам «соцкультбыта», эти жилые среды учитывали такой фактор, как воспитание у горожан привычки к здоровому образу жизни (пример конвергенции социального заказа и социальной инженерии). Территория микрорайона была закрыта для общественного транспорта в целях сохранения микроклимата, – но также и затем, чтобы поощрять жителей на ежедневную прогулку.

В контексте здорового образа жизни нельзя не упомянуть и вопрос озеленения, так же популярный как в раннем, так и в позднем СССР. Авангардисты единодушно мечтали превратить город в город-сад или даже город-лес (много рассуждал об этом тот же Корбюзье).

Не все микрорайоны или жилые районы Советского Союза включали зеленую прогулочную зону, но образцовые включали обязательно. Здесь также имело значение отсутствие частной собственности: ничто не препятствовало щедрой трате земель. В пример можно привести район Беляево в Москве или наш 6-ой микрорайон. И первый, и второй развили парковую зону на основе ранее существовавших зеленых массивов, – в частности, на месте 6-го микрорайона прежде находились насаждения поселка «Ортосай»; почти 20 процентов территории были заняты посадками ореха, дуба, акации, урюка, березы. Проектируемый же показатель зеленых насаждений, одобренный Минздравом, составлял 38 га (66% территории микрорайона). Микрорайон до сих пор утопает в зелени и знаменит уютным парком «Ореховая роща».

Заключение

Математические основания «системы ступенчатого обслуживания», ее радиусы и таблицы, не раз критиковались постсоветскими авторами за «обезличку» (за то, что индивидуальные свойства личности стандартизируются и «повернутся алгеброй»). Но в современной ситуации – когда жители «новостроек» Бишкека порой не имеют доступа не то что к ясли-саду, но к элементарным коммуникациям – сама идея тотального доступа к инфраструктуре кажется фантастичной, а критика «бездушности» ступенчатой системы – анахроничной.

Сегодня в Кыргызстане о массовом строительстве речь не идет, – хотя второй ДСК, переименованный в «Домостроительную корпорацию «Азат», работает до сих пор и строит дома улучшенной 105-ой серии в рамках ограниченного государственного заказа (для небольших групп государственных служащих). Наиболее распространена сегодня так называемая «точечная застройка», когда дома малой этажности сносятся, и на их месте возводятся высотные «элитки», растущие сами по себе, как растения после дождя. Такая застройка оценивается практически всеми как явление неблагоприятное. Пресса перечисляет зловерные последствия «точечного» строительства: повышение плотности застройки перегружает систему коммуникаций, электрическую сеть, водоснабжение, отопление. Высотки перекрывают обзор жителям соседних домов, препятствуют инсоляции и проветриванию. Но, несмотря на критику, «точечная» активность продолжается. Бишкек непредсказуемо формируется плюрализмом частных инициатив: капиталистический «город-организм» обеспечивает «предпринимателю» презумпцию независимости от социальной среды, привилегию строить, где и как хочется, соблюдая лишь ограниченные регламенты (типа высотности), т. е. привилегию классовую.

Масштабных градорегулирующих инициатив в Бишкеке не замечено, но они периодически мелькают на горизонте. В частности, власть озадачена, каким образом вернуть контроль над ростом города. На «Урбан-форуме» 2014 года руководитель мастерской генплана Д. Кулбатыров презентовал план создания «Бишкекской агломерации» (компактного комплекса населенных пунктов), – с целью рассредоточения «механического притока населения». В Бишкеке же предполагается, по его словам, «ограничить население до 1 млн. 200 тыс. человек путем расселения» (News-Asia, 10 июня 2014). Неясно, как именно будет производиться упомянутое «расселение» в целях «ограничения», и как определить данную инициативу – как акт социальной инженерии или как исполнение социального заказа? Видимо, здесь спаяны элементы и того, и другого, – социальный заказ определяет, а социальная инженерия реализует. В этой ситуации важно осознать то, что прекрасно осознавал Осип Брик, вводя в 1923 году понятие социального заказа: последний не исходит от «общества в целом», но всегда отражает интересы той или иной группы, того или иного класса. Это всегда политический выбор; в той или иной степени «социальный заказ» совпадает с тем, что называется «интересы правящего класса». Приоритетная необходимость разноцветных велосостоянок в городе, запруженном душными маршрутками и окруженном поясом саманного самостроя, действительно воспринимается как приоритетная необходимость, если понять это как социальный заказ тех, кто уже обеспечен комфортным жильем.

Советский принцип абсолютной инклюзивности, начавший работу с драмы «уплотнения», с болезненного подселения неимущих к имущим, был основан на позитивной дискриминации неимущих. Жилищная ситуация в СССР 1950-х была оценена как критическая, поскольку самые обездоленные группы находились в поле символической видимости и – в той или иной степени, с теми или иными оговорками – являлись субъектами социального заказа. Жители

«новостроек» Бишкека таковыми субъектами определенно не являются, будучи лишь объектами социальной инженерии. Они исключены с символического поля зрения подобно тому, как до Октябрьской революции были исключены с этого поля рабочие, жившие по 40 человек в избе. Мы и сейчас плохо представляем, как жили рабочие до революции. Образы их повседневной жизни маргинальны в имажинарии XIX века. Этот век для нас представляют тургеневские девушки в усадьбах, т. е. представители привилегированных сословий. Картины быта низших классов, потомками которых является большинство читающих этих строки, мы не различаем в зеркале представлений, – соответственно, не можем оценить значения тех трансформаций городской среды, которые осуществила советская власть. Вместе с тем ситуация медленно, но неуклонно меняется. Мы привыкли считать жилище с канализацией и водопроводом нормой, однако с нами уже соседствуют люди, которые воспринимают эту рутину как недоступную им привилегию. Мы привыкли считать поквартирное расселение (одна квартира на одну семью) само собой разумеющимся, но уже сейчас всё больше молодых креаклов, не рассчитывающих – как когда-то их родители – на получение бесплатного жилья, арендуют жилища группами, производя феномен новых коммуналок (жилья с покомнатным расселением). «Коренным фрунзенцам», которые возмущаются «понаехавшими», стоит вспомнить, что тот Фрунзе, памятью которого они дорожат, появился благодаря принципам абсолютной инклюзивности, основанным на позитивной дискриминации угнетенных. И если бы не «стратегия тотального неисключения», то город сейчас не насчитал бы и десятой доли от числа нынешних квартировладельцев. Квартиры попросту принадлежали бы не им, они бы жили в доходных домах.

Итого – и прошлое, и современность учат нас тому, что стоит быть более зоркими, иначе в скором будущем с символического поля зрения можем исчезнуть мы сами.

Георгий Мамедов

Иллюзия советского: консервативный поворот в Кыргызстане. Законопроект о запрете «гей-пропаганды» и советский дискурс о гомосексуальности

В моем докладе будет три сюжета, каждый из которых в отдельности привлекает мое, если не исследовательское, то критическое внимание, но я попытался связать их в одно целостное высказывание. Эти сюжеты: консервативный поворот в Кыргызстане на примере гомофобного законопроекта, который мне относительно хорошо знаком; либеральная реакция на то, что я называю «консервативным поворотом», которая заключается в диагностировании этого процесса как «реставрации советского», или, есть еще такой термин – «ресоветизации»; и советский дискурс о гомосексуальности. Я попытаюсь показать связь между этими тремя сюжетами, и начну я с законопроекта о «гей-пропаганде».

Законопроект о запрете «гей-пропаганды» в Кыргызстане

Законопроект о «гей-пропаганде» был инициирован группой депутатов кыргызского парламента в марте 2014 года в ответ на требование принять подобный законопроект, озвученное во время митинга у стен парламента ультранационалистической группировкой «Калыс».

Инициированный депутатами проект закона должен противодействовать **«формированию положительного отношения к нетрадиционным сексуальным отношениям»**, для чего депутаты предлагают внести в Уголовный кодекс, Административный кодекс, Закон о мирных собраниях и Закон о СМИ соответствующие поправки. Депутаты

Доклад на симпозиуме «Советский гендерный порядок: между эмансипацией и патриархатом», Штаб, Бишкек, 24-26 сентября, 2015

предлагают «формирование положительного отношения» считать уголовным преступлением и наказывать «преступников» лишением свободы от шести месяцев до года. Законопроект был принят парламентом в двух чтениях. По ходу обсуждения проекта закона число его инициаторов выросло и на сегодня составляет почти три десятка человек, представляющих все парламентские фракции.

Законопроект о противодействии «формированию положительного отношения к нетрадиционным сексуальным отношениям» – далеко не единственная инициатива кыргызского парламента, направленная на регулирование сексуальности и телесности граждан, активно обсуждавшаяся депутатами. В период с 2012 по 2015 год можно выделить определенную тенденцию возрастания представленности в публичном пространстве консервативной и традиционалистской риторики, апеллирующей к «семейным ценностям» и «национальным традициям». В 2013 году депутатами рассматривалась законодательная инициатива по ограничению выезда за пределы республики для женщин до 23 лет. Депутаты в данном случае были озабочены сохранением национального генофонда. Кыргызский парламент также отметил запретом на распространение в школах брошюр по половому воспитанию и бурным обсуждением законопроекта «О репродуктивных правах граждан», в тексте которого депутатов смущало использование слов «секс» и «менструация». Еще одной резонансной инициативой депутатов стал законопроект об «иностранных агентах», направленный на ограничение деятельности неправительственных организаций в Кыргызстане.

Несмотря на то, что ни одна из перечисленных инициатив не была принята парламентом, обсуждение этих законопроектов вызвало серьезный общественный резонанс, а в случае гомофобного законопроекта и законопроекта об «иностранных агентах» – определенную гражданскую мобилизацию. В частности, для недопущения принятия гомофобного законопроекта была создана Коалиция за справедливость и недискрими-

нацию, объединившая неправительственные организации и граждан. Штаб и я лично принимали активное участие в работе этой Коалиции, и многие наблюдения, которые я сегодня озвучиваю, основываются на моем опыте работы в этой Коалиции, которая включала в себя встречи с инициаторами законопроекта и участие в парламентских слушаниях.

Стоит обратить внимание на тот факт, что внутри кыргызского политикума гомофобный законопроект не получил никакого **идейного противодействия**. Против законопроекта как антидемократичного и репрессивного слышались лишь отдельные голоса, мало на что влияющие.

Я уже упоминал про удивительное единодушие всех фракций, выразивших политическую поддержку гомофобному законопроекту. Еще более показательна реакция на законопроект правительства Кыргызстана. Вначале правительство выступило с отрицательным отзывом на законопроект, но затем, будучи обвиненным в «гомосексуализме» авторами инициативы и ее симпатизантами, изменило свое мнение, пояснив, что *концептуально и идеологически* законопроект поддерживает, но указывает на его юридические и законотворческие огрехи. Президент и его аппарат также не выступали с публичной критикой законопроекта, ссылаясь на право депутатов выступать с любыми законодательными инициативами, но отмечая, что президент вправе наложить вето, в первую очередь по «техническим» причинам, т. е. в силу юридической несостоятельности текста законопроекта. Иными словами, на идеологическом уровне наличие в законодательстве репрессивной дискриминационной нормы в отношении группы людей кыргызстанскому политическому истеблишменту кажется вполне приемлемым.

Законопроект еще не принят (и велика вероятность, что вообще не будет принят в нынешнем виде по причине низкого юридического качества документа), но он уже начал оказывать воздействие на общественные процессы и жизни людей. Законопроект даже на стадии обсуждения был воспринят радикально настроенными ультраправыми группи-

ровками как официальная санкция на насилие в отношении людей, чья сексуальная ориентация или гендерная идентичность покажутся этим ребятам не соответствующими «норме». Самым драматичным проявлением гомофобного насилия, спровоцированного законопроектом, стало нападение активистов ультраправых группировок «Кальс», «Кырк чоро» и «Кыргыз эл жаштар кенеші» на закрытое мероприятия ЛГБТ-организации «Лабрис» 17 мая 2015 года. Мероприятие проводилось в частном помещении и в закрытом режиме, что не помешало активистам, используя силу и угрозы, его сорвать. В начале 2015 неизвестные также совершили нападение на офис «Лабриса», перебросив через забор несколько бутылок с зажигательной смесью. Это произошло ночью, поэтому никто не пострадал, и только по счастливой случайности не произошло возгорание. На пике медийного обсуждения законопроекта некоторые геи, которые и так постоянно сталкиваются с милицейским насилием, отмечали активизацию агрессии со стороны милиции, которая свои действия аргументировала якобы принятым законом. В октябре 2014 года активисты тех же ультраправых группировок, что напали на мероприятие «Лабриса», сорвали выступление в Бишкеке украинской группы «KAZAKY», мотивируя свои действия «борьбой с гей-пропагандой», которая хотя и не запрещена пока законодательно, «концептуально и идеологически» парламентом, правительством и президентом не приветствуется.

Маргинальная тема, инициированная маргинальными депутатами, оформленная в виде юридически несостоятельного документа, вызывает такой существенный медийный и общественный резонанс. Рациональный взгляд на ситуацию как бы не схватывает ее во всей сложности и противоречивости. Попробуем разобраться с тем, что делает тему гомосексуальности столь общественно значимой. Для этого приведем несколько цитат инициаторов и сторонников законопроекта, чтобы лучше понять логику и ценностную сторону их аргументов:

«Мы не лезем в ничьи права, все люди созданы богом. Это наши граждане, члены нашего общества. Пусть они делают что угодно в своей квартире, мы не имеем права нарушать их свободу. Но мы должны принять превентивные меры против распространения, как на Западе, чуждых нашему обществу явлений», – сказал один из инициаторов законопроекта Курманбек Дыйканбаев («Скопированный закон», Радио «Свобода», 04.11.2014).

Абдумиталип Кочкорбаев, депутат ЖК от фракции «Ата Журт», выступает в поддержку данного законопроекта: «Надо развивать **традиционные отношения**, а от **чуждого нашему менталитету отказываться**. Я думаю, что какие-то силы пытаются навязать нам **нетрадиционные отношения**. Они прикрываются таким понятием, как «права человека», и продвигают свою политику. Да, мы должны стремиться к интеграции, но перенимать надо с того же **Запада** только положительный опыт, но никак не негативный. И так в нашем обществе немало своих проблем у той же молодежи. Говоря о геях или лесбиянках, многие твердят, что это генная мутация или психическое заболевание. Что бы то ни было, закон, ограничивающий пропаганду нетрадиционных отношений, должен быть принят» («В парламенте Кыргызстана мнения по законопроекту против гей-пропаганды разделились», ИА «24.kg», 19.01.2015).

Из интервью депутатки Галины Скрипкиной: «Это же болезнь, с одной стороны — тяга к однополым бракам, контактам. Это зависимость, которую человек всю жизнь не может преодолеть. Как это можно поощрять? Ну невозможно, у нас же **менталитет восточный**, есть **традиционная семья**». По мнению Скрипкиной, гомосексуальность не присуща **менталитету кыргызстанцев**, поэтому общество должно «отчуждать» её: «**Это не наше, а если это не наше, то общество должно отчуждать от себя и делаться чистым, прозрачным, хорошим**» («Депутат Скрипкина призывает общество «отчуждать» гомосексуальность», ИА «Kloop Media», 27.05.2014).

Этой небольшой выборки текстов достаточно, чтобы составить представление о дискурсе сторонников законопроекта. Если вынести за скобки дремучую невежественность, то этот дискурс можно суммировать следующим образом: **гомосексуальность – это западное явление, чуждое традиционным ценностям и восточному менталитету кыргызского общества.** Нетрудно заметить, что риторика кыргызских депутатов, их постоянные апелляции к «традиционным ценностям», отличным от ценностей «Запада», в точности воспроизводит текущий дискурс российской власти.

Для того чтобы увидеть связь между российской политической ситуацией и нарастанием консервативных настроений в Кыргызстане, не нужно прилагать каких-то специальных индуктивных усилий. Эта связь не только не скрывается, а декларируется самими акторами политического поля. Сама идея законопроекта о «гей-пропаганде» и его формулировки («нетрадиционные сексуальные отношения») повторяют аналогичный российский федеральный закон, принятый в 2013 году (такой же копией российского закона является законопроект об «иностранных агентах»).

Показательным в этом смысле также является выступление одиозного депутата Турсунбая Бакир уулу на слушаниях в комитете парламента по законопроекту. На замечание коллег о том, что поднимаемая в законопроекте проблема «пропаганды гомосексуальности» – маргинальная и незначительная на фоне более актуальных социальных проблем, Бакир уулу ответил следующее (почти дословная цитата): *«Вы не отдаете себе отчета в принципиальной геополитической важности этого закона. Этот закон – символ того, что мы боремся **вместе с Россией и Путиным за восточные ценности против западных.** И да, я считаю, что Россия – тоже часть Востока».*

Для того чтобы получить более ясное представление о консервативном повороте в Кыргызстане, необходимо лучше понять его дискурсивный источник – российский неоконсерватизм.

Российский неоконсерватизм: идеология традиционных ценностей

В своем послании Федеральному собранию 2013 года избранный на третий президентский срок В. Путин впервые ясно и однозначно обозначил идеологические ориентиры российского политического режима:

*«<...>мы знаем, что в мире всё больше людей, поддерживающих нашу позицию по защите **традиционных ценностей**, которые тысячелетиями составляли **духовную, нравственную основу цивилизации**, каждого народа: **ценностей традиционной семьи**, подлинной человеческой жизни, в том числе и жизни религиозной, жизни не только материальной, но и духовной, ценностей гуманизма и разнообразия мира.*

Конечно, это **консервативная** позиция. Но, говоря словами Николая Бердяева, смысл консерватизма не в том, что он препятствует движению вперёд и вверх, а в том, что он препятствует движению назад и вниз, к хаотической тьме, возврату к первобытному состоянию» (Послание Президента Федеральному Собранию, сайт Президента России, 12.12.2013).

В 2014 году Путин подтвердил свою приверженность консерватизму, но уже в контексте внутривнутриполитических отношений государства и бизнеса:

*«Добросовестный труд, **частная собственность, свобода предпринимательства** – это такие же базовые **консервативные**, подчеркну, ценности, как патриотизм, уважение к истории, традициям, культуре своей страны. Все мы хотим одного – блага России. И отношения бизнеса и государства должны строиться на философии общего дела, на партнёрстве и равноправном диалоге» (Послание Президента Федеральному Собранию, сайт Президента России, 04.12.2014).*

Более нюансированное представление о новом российском консерватизме можно получить на различных фору-

мах и конгрессах, организуемых российскими властями. Например, на Всероссийском молодежном форуме «Таврида», организуемом, как вы поняли, в Крыму Росмолодежью и собравшем в 2014 году участников из 60 стран мира. Один из дней этого форума получил название «Консервативный поворот»:

Организаторы мероприятия возложили на восьмой день важную задачу – объяснить молодежи, собравшейся на полуострове, что такое консерватизм, и в чем заключаются его выгоды.

*<...>доктор исторических наук, доцент Воронежского государственного университета Аркадий Минаков <...> отметил, что русский консерватизм родственен западному, но имеет и ряд отличий. «Русский консерватизм вполне оригинален и вполне самодостаточен», – подчеркнул историк. При этом он отметил, что западный консерватизм – ответ на ужасы Великой французской революции, когда **вместо свободы, равенства и братства народ получил казни и террор**. В царской России истоки консерватизма иные. «Прежде всего, это ответная антизападническая реакция на все французское, на галломанию», – сказал Минаков. Он подчеркнул, что консерватизм выступал как защитный барьер на пути идей просвещения, которые радикализировались в России. Примером тому служит восстание декабристов» («Таврида» обсудила консервативный поворот», интернет-газета «Дни.Ру», 18.08.2014).*

Новый русский консерватизм действительно пытается казаться оригинальным и даже вырабатывать определенные дискурсивные инновации. Такой инновацией можно считать «традиционные ценности», путинский неоконсерватизм можно даже назвать «идеологией традиционных ценностей». Россия прилагает дипломатические усилия для того, чтобы утвердить себя в качестве политического и идеологического лидера, предлагающего не только своему обществу, но и международному сообществу новые идеологические ориентиры. В 2012 году Совет ООН по правам человека

принял резолюцию «*Поощрение прав человека и основных свобод благодаря более глубокому пониманию традиционных ценностей человечества*», внесенную Россией.

К российским попыткам утвердить за собой позицию лидера своего рода «консервативного интернационала» (конинтерна) можно отнести и проведение весной этого года в Петербурге под эгидой партии «Родина» «Международного русского консервативного форума», который собрал беспрецедентное число представителей европейских правых партий, в т. ч. таких одиозных, как греческая «Золотая заря» или немецкая НДПГ, которая позиционирует себя как преемницу запрещенной Национал-социалистической партии.

Консервативный поворот: попытка объяснения

Ссылки на Бердяева, настаивание на «оригинальности и самодостаточности русского консерватизма», а также акцентирование в постсоветской неоконсервативной риторике некой «аутентичности», отличия от «Запада» и т. п. не в состоянии скрыть того факта, что этот постсоветский консервативный поворот, тон которому задает путинская Россия, даже во всех своих локальных проявлениях не является чем-то уникальным и специфичным.

Дэвид Харви в «Краткой истории неолиберализма» замечает, что нарастание неоконсервативных общественных настроений имеет непосредственное отношение к формированию и развитию неолиберального капитализма. Неоконсервативная реакция формируется как ответ на «хаос индивидуальных интересов, возникающий в рамках неолиберализма» (для российских неоконсерваторов, например, важна концепция «стабильности», противопоставляемая хаосу «лихих 90-х»). Между тем, как отмечает Харви, «Они [неоконсерваторы] отнюдь не отклоняются от неолиберальной программы создания или восстановления доминирования и власти [буржуазного] класса. Но они стремятся сделать эту власть легитимной, установить общественный

контроль на основе формирования общественного согласия в отношении прочной системы моральных ценностей». На примере неконсервативной реакции в США Харви приводит набор этих моральных ценностей, оказывающихся в центре неконсервативной идеологической повестки с 1970-х. Эти ценности касались «культурного национализма, моральной чистоты, христианства (определенного протестантского характера), семейных ценностей, вопросов «права на жизнь» и неприятия новых общественных движений (феминизм, права сексуальных меньшинств, позитивная дискриминация, движение в защиту окружающей среды)».

Как мы видим, практически тот же набор моральных ценностей в качестве иллюзии общественного согласия предлагается как российскими, так и кыргызскими политиками консервативного толка. Мы также постоянно слышим о духовной чистоте нации, традиционных семейных ценностях и представляющих для них угрозу феминистках, НПО и ЛГБТ, что, в свою очередь, также подтверждает еще один тезис Харви: «Если и есть в этом процессе [неолиберальной трансформации] что-то неизбежное, то оно связано в большей степени с поворотом к неоконсерватизму и мало зависит от индивидуальных черт той или иной нации». Парадоксально, но постсоветская антизападная риторика источником своего происхождения имеет западный, а конкретно – американский, неоконсерватизм.

Неоконсервативная реакция пытается скорректировать неолиберализм в одном важном аспекте, афористично выраженном Маргарет Тэтчер: «Общества не существует. Есть мужчины, женщины и семьи». Неоконсерваторы пытаются создать иллюзию общественного согласия, основанного на разделяемых всеми членами общества, вне зависимости от классового происхождения, ценностях. Однако с первой частью знаменитого афоризма Тэтчер вполне бы согласился, скажем, К. Маркс. В его устах этот афоризм мог бы звучать примерно так: «Общества не существует. Есть только борьба классов, угнетателей и угнетенных». В «Возвышенном объ-

екте идеологии» Жижек указывает на то, что цель идеологии – это создание «такого видения, в котором общество «существует», в котором общество не расколото на антагонистические части, в котором отношения между этими частями являются органическими и взаимосогласованными.

Самым наглядным примером такого видения является представление об обществе как огромном организме, социальном теле...». Между тем, как далее замечает Жижек, «образ общества как единого тела является фундаментальным идеологическим фантазмом», т. е. воображаемым сценарием исполнения желания (в нашем случае, – желания целостного, единого общества). Однако для успешного функционирования этого социально-идеологического фантазма необходима фигура, с помощью которой объяснялось бы фундаментальное несовпадение между органическим видением общества и действительным социумом, раздираемым противоречиями и антагонизмами, переживаемыми членами общества в своей повседневной жизни. Для фашизма такой фигурой выступает «еврей» – «внешний элемент, чужеродное тело, привносящее разложение в здоровый социальный строй». Как замечает Жижек, «еврей» – это фетиш, одновременно и отрицающий, и воплощающий структурную парадоксальность общества».

В нашем контексте такой фигурой становится гомосексуал. Именно в связи и вокруг ЛГБТ артикулируется и выкристаллизовывается постсоветский неоконсервативный дискурс. С одной стороны, проговаривается утопический/идеальный образ гомогенного «духовно чистого» общества, основанного на «традиционных ценностях», а с другой – манифестируется невозможность достижения этого утопического идеала, т. к. всегда есть те, кто угрожает этой «чистоте» и «единству» (на западные гранты пропагандирует гомосексуальность, навязывает «чуждые нашему менталитету» ценности, разрушает традиционную семью и т. п.), т. е. те, кого, по словам депутатки Скрипкиной, «общество должно отчуждать». Подобными «отчужденцами» мо-

гут выступать различные группы – мигранты, иностранцы и «иностранные агенты», национальные меньшинства. И, в общем-то, они выступают в этой роли, но ЛГБТ оказывается наиболее востребованным претендентом на роль «отчужденцев» в силу отсутствия, или, скорее, непризнания властью политической субъектности ЛГБТ-сообществ. Например, за мигрантами и иностранцами стоят страны их происхождения, за национальными меньшинствами – диаспоры и их влиятельные члены, т. е. нагнетание неоконсервативной истерии вокруг этих фигур может иметь серьезные и непредсказуемые последствия, ЛГБТ же для власти оказывается невидимым, прозрачным субъектом. Не только идеологический образ гомосексуала или трансгендера не имеет никакого отношения к реальным лесбиянкам, геям и квирным людям, но и самих этих реальных людей как бы не существует как субъектов общественных отношений.

«Возвращение в совок»: либеральные интерпретации текущего момента

Выше я попытался произвести или, точнее, воспроизвести левую критику текущей ситуации. Однако несмотря на, казалось бы, очевидность сделанных выше выводов о политическом характере и причинах постсоветской неоконсервативной реакции, оппозиционная либеральная критика акцентирует свое внимание на несколько иных аспектах. Ниже я приведу две показательные цитаты «властителей либеральных дум» – писателей Б. Стругацкого и В. Сорокина:

Из интервью Б. Стругацкого «Новой газете» (2010):

«– Так было ли «чудо»? И как можно оценить итоги «путинского десятилетия»?

– Было лишь одно: поворот от демократической революции девяностых к «стабильности и равновесию» нулевых. Фактически – отказ от курса политических и экономических реформ в пользу курса на державность и застой. Итог «путинского десятилетия» и есть возвращение к стабиль-

ности и застою брежневского типа. **По сути – возвращение в совок**» («Борис Стругацкий: «Возвращение в совок – итог путинского десятилетия», «Новая газета», 08.02.2010).

Из интервью В. Сорокина «Огоньку» (2015):

«Многое из того, что происходит сейчас, – это неизжитые комплексы советского прошлого, и я тут опять съезду на любимую колею: советское прошлое не было похоронено в должное время, то есть в 1990-е годы. Его не похоронили, и вот оно восстало в таком мутированном и одновременно полуразложившемся виде. И мы теперь должны с этим чудовищем жить. Его очень умело разбудили те, кто хорошо знал его физиологию, нервные центры. Воткнули в них нужные иголки. Такое вот отечественное вуду. Боюсь, последствия этого эксперимента будут катастрофичны» («Постсоветский человек разочаровал больше, чем советский», «Огонек», 17.08.2015).

Обратите внимание, что между этими высказываниями существенная временная дистанция в пять лет, т. е. интерпретация путинской неоконсервативной реакции как некоей «реинкарнации советского», или «ресоветизации» (например, заголовок: «Трупные пятна ресоветизации») представляет собой устойчивую тенденцию. Предложенная еще в 2010 году Б. Стругацким аналогия с брежневским «застоем» для описания путинской «стабильности» многократно тиражировалась в либеральной публицистике и многим казалась эвристичной.

К сожалению, у меня нет времени, чтобы подробно проанализировать причины этой очевидно невротической (опыт травмы из прошлого проецируется на события настоящего и будущего) интерпретации, в которой декларации политической идентичности режима как консервативного и нелиберального оказываются просто незамеченными. Возможные ответы, однако, можно найти у критически мыслящих либералов. Отсылаю тут к колонке Михаила Берга «За ничтожным исключением» («Каспаров.ru», 02.09.2015), в которой он задается вопросом «Насколько глубоко собираются рос-

сийские либералы реформировать путинскую систему?» и отмечает, что «российские либералы, за ничтожным исключением, ближе всего по взглядам именно к американским и европейским консерваторам, республиканцам, неоконам или сторонникам партии Николя Саркози во Франции». Иными словами, у либералов с режимом не идейные противоречия и несогласия, а скорее культурные и эстетические.

Безусловно, либеральная obsессия «совком» не то чтобы полностью лишена оснований. Неоконсервативная реакция активно мобилизует память о советском, воспроизводит советские риторические паттерны, главным из которых, пожалуй, является противостояние с Западом. Присутствует советское и в интересующем нас кейсе законопроекта о гей-пропаганде. Наиболее яркие сторонники законодательной инициативы призывают к рекриминализации гомосексуальности, т. е. к возвращению в УК статьи за мужеложство, которая была в советском уголовном законодательстве. В связи с этим можно задать вопрос: до какой степени «советской» является постсоветская гомофобия?

Советская гомофобия: дискурс модернизации и прогресса

Я остановлюсь на анализе раннесоветского дискурса о гомосексуальности, а еще точнее, – на раннесоветском дискурсе о гомосексуальности в Средней Азии.

Периодизация уголовного преследования мужской гомосексуальности в СССР общеизвестна. До 1934 гомосексуальность была декриминализована, в 1934 году появилась статья за мужеложство (добровольный сексуальный контакт между мужчинами), которая была исключена из уголовных кодексов большинства постсоветских республик в 1990-е (в Кыргызстане в 1998). В Узбекистане, например, статья за мужеложство до сих пор существует.

Американский славист и активист ЛГБТ-движения русского происхождения Саймон (Семен) Карлинский объяснял отмену уголовного преследования мужской гомо-

сексуальности банальным недосмотром, обусловленным упразднением большинства царских положений в советском законодательстве. Этой довольно распространенной точке зрения оппонирует американский историк Дан Хили. Основной тезис его книги «Гомосексуальное влечение в революционной России», вышедшей по-русски в 2008, а по-английски в 2001, – **эмансипация гомосексуалов была логическим следствием революции.**

Несмотря на то, что единой и официальной точки зрения на гомосексуальность в период декриминализации не было, эксперты и управленцы исповедовали самые разные взгляды, имела место определенная тенденция. Анализируя архивные документы, Хили показывает, что исключение из уголовных кодексов РСФСР 1922 и 1926 годов преследования добровольных гомосексуальных контактов было принципиальным и осознанным. Однако декриминализация гомосексуальности была вызвана не стремлением эмансипировать гомосексуального субъекта, а общей секуляристской, модернизационной и прогрессивистской направленностью послереволюционных преобразований. Большевицкие юристы, работая над проектом УК РСФСР, стремились исключить из советского уголовного законодательства религиозные или моральные основания в определении правонарушений.

В этой логике половые расстройства, к которым относили гомосексуальность, должны были быть подведомственны медицине, а не уголовному кодексу. Таким образом, «мужеложство» было изъято из уголовного законодательства как термин с религиозными и морализаторскими коннотациями.

Несмотря на то, что позиция гомосексуального субъекта большевиками не учитывалась, декриминализация гомосексуальности также была и эффектом сексуальной революции, имевшей место в первое послереволюционное десятилетие. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 годов использовали новаторский принцип гендерной нейтральности, использовавшийся в формулировках большинства статей, касающихся

ся половых преступлений и предполагавший, что преступники могли быть любого пола.

Между тем, и тут мы переходим к самому интересному, **добровольные гомосексуальные отношения в период с 1922 по 1934 годы были декриминализованы не на всей территории СССР.** В Грузии, Азербайджане, Туркмении и Узбекистане мужеложство продолжало оставаться уголовно преследуемым деянием. Уголовный кодекс Узбекской ССР содержал наиболее разработанные статьи, запрещавшие однополые отношения между мужчинами. Всего статей, направленных против различных практик, было восемь. И что особенно примечательно, входили эти статьи в главу под названием «Местные бытовые преступления» (эта глава была исключена из УК в 1960). К таким преступлениям относились: калым, баранта (угон скота как способ мести) и т. п. Статья за мужеложство (бесакалбозлик), т. е. «половое сношение мужчины с мужчиной» в редакции 1926 года предусматривала наказание в виде лишения свободы со строгой изоляцией на срок не менее шести месяцев. В 1934 году наказание по этой статье было ужесточено и предусматривало лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В УК Узбекской ССР была также уникальная для советского уголовного законодательства статья 278, запрещавшая сексуально домогаться мужчин. Ее формулировка повторяла российскую формулировку, запрещавшую сексуальные домогательства женщин. Как отмечает Хили, «запрет сексуального домогательства [взрослых мужчин] делал более рельефным распространенное представление, что социальная среда – причина однополых отношений; мол, податливые, но «нормальные» мужчины могли попасть под влияние «родовых» элементов и быть насильственно вовлечены в мужеложство, что не отвечало их природным наклонностям».

В отличие от европейской части СССР, где в отношении гомосексуальности доминировал медикализирующий дискурс, рассматривавший однополое влечение как проявление гормональных или психических факторов, гомосексуальные

практики в Средней Азии рассматривались в антропологической перспективе, как «пережитки родового быта», наряду с такими практиками, как калым или многоженство. В дискурсе о гомосексуальности в Средней Азии постоянно подчеркивались факторы экономической эксплуатации и социального неравенства. Мужчины и мальчики из бедных и зависимых социальных групп вовлекались в гомосексуальные практики богатыми помещиками, чиновниками и духовенством.

Постреволюционная мобилизация предполагала борьбу с «отсталостью» и «пережитками», и уголовное преследование наиболее одиозных, на взгляд новых властей, проявлений этих пережитков было одним из инструментов этой борьбы. Как замечает Хили, большевики «был[и] твердо настроены сдерживать свойственные традиционной культуре формы однополого эроса в неславянских республиках, и принимавшиеся меры подчеркивали различие подходов – если сексуальные меньшинства европейского, «цивилизованного» центра были отданы под надзор медицине, то на нехристианской «отсталой» периферии они рассматривались как эндемическая форма развращенности». Однако большевики старались не привлекать особого внимания к подобной борьбе с «родовыми пережитками» именно в силу этого противоречия, т. к., по мнению Хили, «эти действия шли вразрез с наступившей в европейских частях Советского Союза эпохой модернити в регулировании половых отношений».

Противопоставление этих двух подходов к гомосексуальности как современного и домодерного (или немодерного) кажется не совсем верным. Оба советских дискурса о гомосексуальности, и эмансипирующий, и репрессивный, были в равной степени модернистскими и прогрессистскими, и представляют собой не противоречие между современностью и архаикой, а противоречие внутри модернити.

Наиболее рельефно это противоречие проявилось в период культурной революции. Новая волна революционной мобилизации, «наступление социализма по всем фронтам»

создали атмосферу утопического оптимизма, в которой даже самые радикальные идеи и видения новой жизни не казались фантастичными. Отразилась эта атмосфера и на дискурсе о гомосексуальности. Статьи о «гомосексуализме» для вышедших в 1929 и 1930 годах «Большой медицинской...» и «Большой советской...» энциклопедиях были написаны психиатром М. Я. Серейским, сторонником т. н. «эндокринологической гипотезы» и биологической этиологии однополого влечения. Эта позиция пользовалась наибольшей популярностью у адвокатов гомосексуальной эмансипации, т. к. если гомосексуальность (согласно этой гипотезе) была вызвана гормональными факторами, то отпадала необходимость не только в ее уголовном преследовании, но и в психиатрическом регулировании. В своих статьях Серейский подверг резкой критике психопатологические теории однополого влечения и законодательные запреты гомосексуальных контактов, охарактеризовав их как устаревшие.

В то же время культурная революция актуализировала радикальную материалистическую риторику, в рамках которой звучала критика т. н. «биологизирующего» подхода к социальным явлениям, и начал развиваться дискурс «социальных аномалий». Проституция, алкоголизм, попрошайничество стали рассматриваться как «социальные аномалии», устранить которые, как считалось, можно было мерами принудительного воздействия. Гомосексуальность оказалась в одном ряду с этими явлениями и к середине 1930-х также рассматривалась как «социальная аномалия».

Роднило гомосексуальность с этими явлениями городской жизни то, что гомосексуалы-мужчины создавали свою собственную субкультуру (плешки, приобщение общественных туалетов в места для сексуальных знакомств и т. п.). Эта субкультура была видимой для властей, но возможности ее контроля и регулирования была ограничены. Хили выдвигает гипотезу, что, в ряду других (противостояние коммунизма с фашизмом, например), одним из ключевых факторов рекриминализации гомосексуальности в 1934 году, было

беспокойство властей по поводу городской гомосексуальной субкультуры, и в силу того, что в режиме субкультуры существовала (или как минимум была видима для властей) именно мужская гомосексуальность, то она и оказалась под законодательным запретом.

К середине 1930-х противоречие внутри советского дискурса о гомосексуальности разрешается в пользу социально-конструктивистского взгляда, согласно которому гомосексуальность была эффектом социальных условий. В СССР социальный конструктивизм, как показывает – правда, на материале 1960-80-х – одна из авторок нашего проекта «Понятия о советском в ЦА» Нина Багдасарова, существовал не столько в критическом, сколько в аффирмативном, или радикальном режиме. Социально-экономические условия, задающие те или иные общественные феномены, можно не только анализировать и выявлять, но и устранять, или наоборот, формировать и конструировать. Обусловленным архаическими традициями «родовым пережиткам», к которым относились гомосексуальные практики в Средней Азии, и «социальным аномалиям», порождаемым буржуазной городской культурой, не будет места в социалистическом обществе. Хили приводит слова из выступления наркома юстиции Крыленко, одного из адвокатов рекриминализации гомосексуальности. Несмотря на то, что речь была произнесена в 1936, т. е. уже в период т. н. сталинского «большого отступления» от революционных идеалов, для оправдания уголовного преследования мужеложства Крыленко пользуется утопической риторикой культурной революции, замечая, что главной целью законодательного запрета гомосексуальности является стремление «переработать нас самих, воспитать в нас самих нового человека <...> [и] новые отношения в быту».

Мне бы хотелось рассмотреть еще один сюжет в связи с дискурсом о гомосексуальности в Средней Азии в 1920-30 гг. Это взгляды на гомосексуальные практики среднеазиатских джадидов, или младобухарцев – прогрессистских мыслители-

лей, писателей, публицистов, выступавших за модернизацию мусульманских обществ посредством новых методов образования. После разгрома в результате Первой мировой войны Османской империи, бывшей для джадидов образцом исламского обновления и модернити, младобухарцы отступают от панисламистских к националистическим и анти-империалистическим позициям, что способствовало их сближению с большевиками. После революции 1917 джадиды влились в большевистскую партию и в первое послереволюционное десятилетие не просто оказывали влияние на политику большевиков в Средней Азии, а фактически были основными агентами этой политики.

Вопросы общественной морали занимали центральное место в публицистических и литературных текстах джадидов. Джадиды выступали за гендерное равноправие. Они пытались найти компромисс между исламской традицией и прогрессом, апологетами которого выступали. Например, джадиды считали многоженство допустимым (так предписывает Коран), но невозможным, т. к. в реальных жизненных обстоятельствах эта практика не может соответствовать предписаниям Корана. Главным пунктом их политической повестки по «женскому вопросу» было образование девочек. Они настаивали на обязательном доступе женщин к образованию, мотивируя это в первую очередь интересами нации. Женщина как мать играет ключевую роль в воспитании «сынов нации», и образованная женщина оказывается более успешной в этой роли.

В целом, идеалом семейных отношений для младобухарцев была моногамная нуклеарная семья. В своих сочинениях на тему брака и половых отношений джадиды часто ссылаются на западноевропейские источники. Сексуальные практики, отклоняющиеся от этой буржуазной нормы, описываются младобухарцами как неприемлемые. Гомосексуальное поведение джадиды считали, как замечает американский историк Адиб Халид, «символом глубочайшей деградации среднеазиатского общества».

Своих политических оппонентов – в первую очередь, ортодоксальное духовенство, джадиды постоянно уличали в «педерастии». Примечательно, что чаще всего это уличение делалось от имени внешнего наблюдателя, носителя прогрессистских и модернистских взглядов, как, например, в «Споре бухарского мударриса с европейцем в Индии о новометодных школах» (1911) Абдурауфа Фитрата. Буквально в первых строчках этого ключевого для джадидов текста европейец перечисляет пороки бухарского духовенства, которое «бегаёт за учащимися мальчиками и пьянствует по ночным забегаловкам» (*перевод с англ. мой*).

Халид замечает, что ортодоксальное духовенство защищало критикуемые джадидами «порочные» практики (алкоголизм, азартные игры, содомию, переодевания мужчин в женщин и женщин в мужчин), имевшие место чаще всего во время больших празднеств (той, марака, базм) как «достойные традиции предков».

Взгляды джадидов на среднеазиатский гомоэротизм, таким образом, совпадали, а, возможно, и оказали влияние на взгляды большевиков. Как и большевики, джадиды связывали гомосексуальное поведение с «отсталостью» традиционной культуры, и в результате мобилизационного преобразования общества (в социалистическое или национальное) гомоэротические практики должны были быть изжиты.

Заключение

Как видно из этого короткого обзора раннесоветского дискурса о гомосексуальности, в 1920-1930-е годы гомоэротизм в Средней Азии воспринимался как проявление традиционной культуры. Гомосексуальные практики кодировались как «правонарушения, основанные на традициях», и с ними боролись как с «пережитками родовой культуры» во имя прогресса и модернизации. Сегодняшний же неоконсервативный дискурс представляет гомосексуальность как «чуждое и противоречащее национальным традициям»

явление, занесенное с «Запада». Сопоставление этих двух позиций наглядно демонстрирует историчность любого дискурса и его обусловленность множеством социально-экономических факторов в определенный исторический период, что в свою очередь, ставит под сомнение эвристическую продуктивность объяснительных схем, построенных на исторических аналогиях.

Что касается эмансипирующего опыта первого послереволюционного десятилетия, то, несмотря на то, что раннесоветский дискурс содержал в себе и эмансипирующий опыт в отношении гомосексуальности, этот опыт не может сегодня быть в полной мере затребованным освободительным движением. Большевики не признавали в сексуально-гендерных диссидентах революционных субъектов (яркая иллюстрация тому – язвительные и обесценивающие замечания Ленина о революционном кружке и газете проституток, которые организовала одна немецкая коммунистка, мол, работниц что ли мало для организации кружка. Этот сюжет известен нам из воспоминаний Клары Цеткин). Среди многих левых, т. н. «рабочистов», эта позиция и сегодня пользуется популярностью. Для написания собственной освободительной истории, включающей советский период, постсоветскому квир-движению, возможно, стоит сместить фокус своего внимания с 1920-х на позднесоветский период, в котором имелись возможности для появления и существования сопротивляющегося гомосексуального субъекта, но это уже другая история.

Библиография

- Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М.: Художественный журнал, 1999
- Харви Д. Краткая история неолиберализма. М.: Поколение, 2007
- Хили. Д. Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства. М.: Ладомир, 2008
- Khalid A. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley: University of California Press, 1998

Оксана Шаталова

Кухня и освобождение от нее:

домашняя работница в советской прессе 70-х гг.

Сегодня на фоне консервативного поворота и демонтажа социального государства мы часто обращаемся к советскому опыту как примеру иной – по сравнению с нынешней – гендерной политики. Какое место занимает советское «освобождение женщин» по отношению к текущему «ренессансу патриархата», находимся ли мы на стадии «регресса», – эти и подобные вопросы наделяют ретроспективные экскурсы насущным смыслом.

Задача этого обзора печати 70-х гг. – проследить, каким образом советская пресса конструировала образ женщины-работницы репродуктивного [1] труда. Материалом исследования послужили: архив журнала «Работница» за 1971, 1975, 1978, 1980 гг.; «Советский Красный Крест» за 1975, 1976, 1979, 1980 гг., т. е. пресса брежневского «периода развитого социализма», – именуемого сегодня в зависимости от позиции оценщика либо «застоем», либо «стабильностью». Зачастую этот период расценивается как эталонное «спокойное» советское прошлое.

Дискуссионное десятилетие

Начнем с «истоков», а именно, с первых послереволюционных лет (1917-1930). Именно это десятилетие надолго определило накал и градус, как тогда говорили, «женского вопроса». Продукт этого периода – лозунг «Освободим жен-

Полная версия текста опубликована в феминистском зине «Weird Sisters» (№ 2, ноябрь 2014, Бишкек) и на сайте Штаба 11 декабря 2014

[1] Под «репродуктивным» понимается труд не производящий, но воспроизводящий, труд по жизнеобеспечению, поддержанию условий жизни: приготовление пищи, уборка, стирка и др.

щину от кухонного рабства» – стал ритуальной формулой и этическим требованием на протяжении всей советской истории. Так или иначе, но на него ориентировались.

Итак. В первые годы после революции (1917-1920) большевики приняли ряд законов, вошедших в историю феминизма: уравнивали женщин в юридических правах с мужчинами, отменили церковный брак, облегчили развод, легализовали аборты и т. д. Была декриминализована гомосексуальность ввиду отмены уголовного кодекса Российской империи. В то время феминистский лозунг «личное есть политическое» прозвучал бы очень уместно. Проблематизировались и ставились под сомнение все без исключения «интимные» области жизни: семья и брак, сексуальность, семейное воспитание детей (например, такая деталь: в 1924 году Коминтерн провозгласил лозунг *«Революция бессильна, пока существуют понятия семьи и семейные отношения»* (цит. по: Бовуар С. Второй пол. М., 1997)). Таким образом, первое послереволюционное десятилетие можно расценить как «дискуссионное» и «не определившееся», – анархическое относительно политик в области гендера и сексуальности.

Риторика «освобождения женщин» вращалась тогда вокруг проблемы «быта»: считалось, что старый альковно-кухонный быт должен быть разрушен, как Карфаген. Женщина будет «освобождена от кухонного рабства», поскольку всю нагрузку возьмет на себя социалистическое государство. Новый быт будет коллективистским, обобщественным, централизованным.

В целом консенсус по вопросу быта совпадал с пассажами из популярной среди марксистов книги А. Бебеля «Женщина и социализм», опубликованной еще в 1879 году. В главе «Коммунистическая кухня» Бебель постулировал, что приготовление пищи должно быть основано на научных принципах, а не на кустарном наитии домохозяйек. Частная семейная кухня с ее малой производительностью труда и нерациональной тратой времени – такой же пережиток, как и ремесленный станок. Пережиток будет устранен, освободив

при этом «бесчисленное количество женщин». Произойдет автоматизация кухонного труда. Благодаря широкому внедрению электричества распространится машинное производство пищи, – каждая из машин будет специализироваться на отдельной операции, – чистке картофеля, набивке колбасы, рубке мяса, резании хлеба и др. Машины будут управляться небольшим числом операторов и производить еду в промышленных масштабах.

Попытки создать материальные предпосылки нового жизнеустройства стали предприниматься почти сразу после революции. В Москве и других городах строились дома-коммуны специально для коллективистской жизни, – в них отсутствовали частные кухни и наличествовали общественные столовые. Строительство подобных объектов шло скромно, однако идеи, замыслы, фантазии принимали глобальные масштабы. В конце 20-х – начале 30-х появилась целая лавина футуристических проектов. Проектировщики новых социалистических городов уделяли огромное внимание проблеме быта. Кухня из жилища будущего изгонялась. Приготовление пищи замышлялось в согласии с идеями Бебеля, – на пищевых комбинатах, производящих готовые обеды, развившиеся затем в термосах по столовым (Сабсович Л. Социалистические города. М., 1930). Стирка, чистка, уборка механизировались и ставились на поток. Вот так, например, предлагалось производить уборку в социалистическом поселении, состоящем из индивидуальных домиков: *«Уборка комнаты... производится специальным персоналом. Объезжая на автомобиле ячейку за ячейкой, соответствующими орудиями уборки производят очистку комнаты, забирают грязное белье, приносят стиранное, починенное и пр. Кроме того, санитарный инспектор дороги или участка проверяет санитарно-гигиеническое состояние ячеек»* (Барщ М., Владимиров В., Охитович М., Соколов Н. Магнитогорье. Современная архитектура, 1930).

Фестиваль подобных идей длился в СССР до мая 1930 года, – а именно, до выхода постановления ЦК ВКП(б) «О работе

по перестройке быта». Обиженным тоном в постановлении осуждались *«проекты перепланирования существующих городов и постройки новых исключительно за счет государства, с немедленным и полным обобществлением всех сторон жизни трудящихся...»*. И далее: *«Проведение этих вредных, утопических начинаний, не учитывающих материальных ресурсов страны и степени подготовленности населения, привело бы к громадной растрате средств...»*.

Ситуация начала «холодеть». С 1930 г. аборты становятся платными, в 1936 году запрещаются (вплоть до 1955 года). В Уголовном кодексе союзных республик в 1934 году появляется статья «за мужеложство». В 1938 году сокращается декретный отпуск. С 1941 года вводится налог на бездетность. В 1944 году ужесточается процедура развода, и так далее.

Можно утверждать (сознавая известную условность генерализации подобного утверждения), что, за исключением «дискуссионного» десятилетия, советская гендерная политика оставалась до конца СССР дискриминационной.

Эмансипация как подарок

Панорамно обозревая советскую историю, можно было бы счесть, что «женский вопрос» в СССР был решен успешно. Во-первых, женщины получили государственную поддержку в форме институтов охраны материнства и детства – в частности, сети доступного дошкольного образования и системы выплаты пособий. Советская пресса не уставала заявлять об этих достижениях:

...в общих затратах на содержание ребенка в яслях или садах плата родителей составляет лишь пятую часть, а четыре пятых покрываются за счет общественных фондов... За счет общественных фондов потребления все работающие женщины в СССР получают дополнительный полностью оплачиваемый отпуск общей продолжительностью 112 дней по беременности и родам... Из общественных фондов выплачиваются пособия на предметы ухода за ново-

рожденным, на его питание... (Смирнов А. На благо каждого гражданина. Советский Красный Крест, 1979.)

Во-вторых, женщины обрели право на образование и участие в общественном производстве, – еще один маркер эмансипации:

Женщины составляют в нашей стране 51 процент рабочих и служащих и 52 процента колхозников. Из каждых десяти дипломированных специалистов народного хозяйства (т. е. окончивших вузы и техникумы) шестеро – женщины... Подавляющее большинство учителей, врачей и средних медицинских работников – женщины. Скажем, кстати, что в мире капитализма женщин среди врачей почти нет. (Переведенцев В. Женщина на работе и дома. Советский Красный Крест, 1975.)

Однако если мы вспомним условие эмансипации по Ленину – а это участие женщин в «управлении общественными предприятиями и в управлении государством», – то такой критерий повода для торжественных рапортов не представлял. В советских «эшелонах власти» женщин было ровно столько, чтобы хватило для украшения обложек журналов, рапортующих об «окончательном освобождении». То есть единицы: «В общем составе населения в 1966-1967 годах было 45,8% мужчин и 54,2% женщин; в составе партии — 79,1% мужчин и 20,9% женщин; в составе Центрального Комитета партии — 97,2% мужчин и 2,8% женщин; в Политбюро и секретариате 100% мужчин. Ничтожно малое количество женщин находилось на руководящих постах в районных, городских, областных комитетах партии, направлявших текущую жизнь страны...» (Айвазова С. Советский вариант «государственного феминизма». В кн.: Гендерное равенство в контексте прав человека. М., 2001). Женщины в СССР не были допущены к процессам принятия решений. Речь идет не столько о «стеклянном потолке» и гендерном дисбалансе в ЦК, сколько о советской вертикальной системе управления как таковой – в том числе управления «женским вопросом». Таковую гендерную политику С. Айвазова называет «государственным феминизмом»: «...независимые женские объеди-

нения были запрещены. Дело отстаивания женских интересов советская власть взяла на себя».

Показателен здесь комментарий Кагановича в связи с закрытием в 1930 году Женотдела (отдела по работе среди женщин при ЦК и при местных комитетах РКП(б)): «...сейчас большинство женщин уже освобождены, и поэтому необходимости в специальном органе больше нет, так как эту работу возьмет на себя партия» (Стайтс Р. Женское освободительное движение в России. Феминизм, нигилизм и большевизм 1860-1930. М., 2004).

Иными словами, женщины были отчуждены от собственной эмансипации. На мой взгляд, такую социальную конфигурацию можно довольно точно описать при помощи понятийной пары «общественное (public) / общее (common)», предложенной социальным географом Дэвидом Харви в недавно вышедшей книге «Восставшие города: от права на город до городской революции» (David Harvey. REBEL CITIES. From the Right to the City to the Urban Revolution. London, New York, 2012). Согласно Харви, общественное – это такие бесплатные или доступные блага (институты здравоохранения и образования, улицы, площади и публичные парки), которые государство предоставляет населению в качестве отправления своего «социального долга». Эти блага находятся под ответственностью, в ведении и распоряжении государства; население лишь использует их. Субъект может быть отчужден/а от общественного достояния, может «не ощущать его своим», может вовсе им не интересоваться. Но если он/а предъявляет на него свои права – права распоряжаться и развивать это достояние в соответствии со своими интересами, то общественное становится общим. Харви приводит в пример площади Синтагма в Афинах и Тахрир в Каире. Площади, общественные пространства, сделались общими в результате политических действий горожан по их обживанию и присвоению. Иными словами, общественное есть общее в потенции. Процесс присвоения общественного и становления-общим Харви называет *приобщением*

(commoning): члены общества волевым жестом принимают *общее* под свою ответственность и контроль, творя одновременно себя как политическую силу. Т. е. «общее» отличается от «общественного» не в правовом смысле, а в смысле социально-политическом; понятие «приобщение» же описывает установление вектора отношений субъекта с *общим*, – иными словами, описывает процесс политизации.

В случае с инфраструктурой женской эмансипации в СССР очевидно, что «приобщения» не произошло. В отсутствие низового активизма и независимых общественных движений «освобождающие» права и гарантии не были сознательно запрошены женщинами, не были отформатированы в соответствии с их интересами, но просто директивно спускались сверху – женщины пассивно одаривались благами, как это обычно и происходит в патриархатном обществе. Единственным активистом и гендерным экспертом было государство. Именно его интересам служила инфраструктура эмансипации, хотя эффектом проекта и явилось расширение форм опыта и идентичности для многих женщин.

Советский опыт может послужить уроком нынешним левым ортодоксам, и по сей день видящим необходимый-и-достаточный способ борьбы с патриархатом в создании соответствующей инфраструктуры – и в надежде на автономную силу материальных предпосылок (как Бебель видел ключевую предпосылку для создания общественных кухонь в электричестве). В этом левые совпадают с правыми, которые видят эмансипирующий потенциал в развитии рынка, в модернизации, в техническом прогрессе: «постиндустриальное» общество должно коммодифицировать домашний труд, перевести его из приватной сферы в область товаров и услуг, что принесет женщине долгожданное «освобождение». И левые, и правые, таким образом, представляют эмансипацию женщин как автоматический «побочный эффект» экономических трансформаций, а феминистское движение – как избыточное («буржуазная забава») или «преждевременное». Такое линейно-буквалистское понимание конфигурации

«базиса и надстройки» обесценивает важность политизации и сознательного участия. Советский опыт показывает, что ни «сама по себе» система социальных гарантий, ни вовлечение женщин в производство – вне участия женщин в процессе собственной эмансипации и адвокации – не отменяет автоматически старый гендерный порядок, но лишь адаптирует его. В СССР произошло перераспределение и оптимизация рабочей силы: женщины стали использоваться на производстве как ресурс продуктивного труда и дома как ресурс репродуктивного труда. Плюс – как ресурс производства рабочей силы для производства. Рамки женской субъектности жестко программировались: гетеросексуальность, замужество, материнство, репродуктивный труд («хорошая хозяйка»). В настоящей статье я рассмотрю только одну ипостась советской женственности – «хорошая хозяйка», – отраженную в «зеркале-экране» печатной прессы.

Кухня: пути освобождения

Начиная с 30-х гг. гендерно-сегрегированная семья с «природными различиями полов» стала утверждаться в СССР как вечная и безальтернативная, – а такая семья есть форма натурализации домашнего труда женщин. Образ семьи настолько пронизан флюидами «естественности», что труд по жизнеобеспечению семьи не считается в полной мере «трудом», не распознаваем как «труд», т. е. сознательная деятельность по преобразованию природы. Занятие домашними делами – это не работа, а как бы инстинктивное отправление женского организма («любовь и желание заботиться»).

Теперь собственно о кухне. Традиционное семейное разделение труда подразумевает соответствующую пространственную ситуацию, и проектировщики социалистического быта 20-х гг. понимали это очень хорошо: *«Структура жилища (например, деление жилищ на комнаты) вытекает в свою очередь из факта разделения труда внутри жилища»* (Охитович М. Социалистический способ рассе-

ления и социалистический тип жилья, 1929). Эта логика и вела архитекторов 20-х гг. к уничтожению кухни как изолированного пространства. Жилье без кухни – проблематизация гендерного разделения труда, поэтому феминистки сейчас проектируют «открытые кухни», убирая перегородки между комнатами (Парфан Н. Семиотика кухни. gender-route.org).

Затем кухню «вернули» в советские жилища. Однако обещание «освободить женщину от кухонного рабства» по-прежнему отягощало совесть советского государства и продолжало заявляться как цель – но на этот раз в строгих рамках гендерно-сегрегированной семьи (основное отличие от 20-х). Прокламировалось сразу несколько путей освобождения, которые можно проследить в прессе 70-х. **Первый путь** – старая идея «обобществления быта», а именно развитие сети общепита и учреждений бытовых услуг. Рапорты о достижениях в этой сфере звучали бодро:

В последние годы широко распространилось выражение о второй, «домашней» смене работающей женщины. Сократить эту «вторую» смену, всемерно облегчить домашние заботы – задача очень серьезная и важная. И для успешного ее решения делается в столице немало – ежегодно открываются десятки новых столовых, кафе, домовых кухонь, магазинов «Кулинария», новых прачечных, химчисток, мастерских по ремонту обуви, бытовых приборов. (Григорьева Г. На работе и дома. Интервью с секретарем Московского городского совета профессиональных союзов, председателем комиссии по работе среди женщин Л. Ю. Туровой. Работница, 1975.)

В первой половине 70-х сотрудницы журнала «Работница» периодически устраивали рейды в города СССР с целью мониторинга сферы бытовых услуг. Но практически во всех отчетах оптимистические пассажи:

Служба быта за девятую пятилетку превратилась в крупную механизированную отрасль народного хозяйства. Уже в ближайшие годы она сможет высвободить каждой семье 7-10 часов в неделю... (Александрова Т., Ко-

стыгова Т., Минасьян С. Умеем ли мы отдыхать? Работница, 1975.)

перемежались оговорками в духе «не всё в порядке на местах»:

Ни одна из опрошенных работниц не отдает белье в прачечную. Все стирали дома – напомним, что в среднем это занятие отняло у них по два часа. Причина простая: прачечные в Орле стирают неважно, белье подолгу задерживают, к тому же мало приемных пунктов, пока доедешь с узлом – быстрее постирать самой... Ни одна из опрошенных нами работниц не обедала с семьей в кафе или ресторане... (Там же.)

Подобная риторика кочевала из публикации в публикации, свидетельствуя о том, что, несмотря на обилие служб быта, снижения домашней нагрузки не происходит.

Второй путь виделся в усовершенствовании бытовых приборов для частного семейного хозяйства. Здесь социалистическая эмансипация совпадала с капиталистической: и советским работницам-хозяйкам, и американским домохозяйкам предлагалось утешиться в объятых пылесоса: см. знаменитую книгу Бетти Фридан «Загадка женственности» (1963), посвященную домохозяйкам, запертым в доме с бытовой техникой. Патриархатный консенсус предполагал, что в окружении умных машин, нажимая на кнопки и двигая рычаги, женщины вообразят себя инженерками и обретут особый вкус к домашней рутине. Таким образом, «электричество», вопреки Бебелю, не подрывало, а, напротив, укрепляло частный быт, придавая ему модный футуристический облик.

Третий путь облегчения домашнего труда – это применение к нему принципов НОТ («научной организации труда», – популярная советская идея оптимизации производственного процесса). Женщина должна стать новаторкой и рационализаторкой не только на производстве, но и дома:

...и на кухне может быть свой НОТ. Во-первых, все должно быть под рукой, все подручные средства домашней хозяйки – винтовой нож, чтобы не открывать консервную банку чем попало, нож для чистки рыбы, картофеля, дур-

шлаг, сковородник, «прихватки»... А как у вас развешаны на кухне полки? У некоторых хозяек так высоко – на цыпочках не дотянешься... (Мардаровская Е. Дела кухонные. Советский Красный Крест, 1975.)

Судя по динамике публикаций, идея НОТ приобрела популярность позже активной пропаганды «обобществления быта», – когда стало очевидно, что столовые и прачечные не меняют положения домашней работницы. Относительно поздно, в 1980 году, в журнале «Работница» появилась специальная рубрика «НОТ в доме», призванная помочь хозяйкам разумно организовать быт:

Опытная хозяйка знает, какая именно тряпка подойдет для стирания пыли, а какой лучше мыть окно или пол. Ей не придет в голову сначала обмести пыль со стен, а потом снимать для стирки шторы. Очень ценно умение добиться нужного с наименьшей затратой времени и сил. (НОТ в доме. Работница, 1980.)

Т. е. идея научных принципов быта, также восходящая к Бебелю, была фактически сведена к мизерабельной пародии. Едва ли советы, публиковавшиеся в этой рубрике, «научно организовывали» домашний труд, – скорее, они, призывали к бытовой смекалке в условиях дефицита потребительских товаров:

Выкройку, которую часто используют, лучше сделать не из бумаги, а из клеенки, тогда она будет жить дольше. (НОТ в доме. Работница, 1980.)

Модерново звучащая аббревиатура НОТ являлась эвфемизмом, прикрывающим тот факт, что и спустя 60 лет существования СССР «кухонное рабство» не было преодолено. Согласно статистическим данным 1978 года, продолжительность домашнего труда замужних бездетных работающих женщин составляла 25 часов 50 минут в неделю, мужчин с аналогичным положением – 8 с половиной часов в неделю (т. е. в 3 раза меньше). Матери несовершеннолетних детей, помимо основной работы, трудились дома 35 часов 45 минут в неделю (т.е. более пяти часов в день), отцы – 13 часов

25 минут в неделю (Переведенцев В. Браки. Разводы. Дети. Советский Красный Крест, 1980).

Наконец, предлагался **четвертый путь** освобождения – разделение домашнего труда с мужьями. Эту идею в журнале «Советский Красный Крест» продвигал демограф В. Переведенцев. В 1975 году он писал:

Если поделить домашний труд примерно пополам, то нынешней громадной перегрузки работающей женщины-матери уже не будет. Но сделать это можно только с ведома, согласия и по доброй воле самих мужей. Никто тут не может дать указания сверху: мужчины, дескать, обязаны столько-то времени заниматься вот такими домашними делами. Мужчины сами должны понять, что их помощь необходима не только жене лично, но им самим и всей семье... (Переведенцев В. Женщина на работе и дома. Советский Красный Крест, 1975.)

Спустя пять лет автор продолжал сетовать на статус-кво:

...многие мужья... отнюдь не склонны заниматься домашними делами, которые по традиции продолжают считать «бабьими»... (Переведенцев В. Браки. Разводы. Дети. Советский Красный Крест, 1980.)

Поняв, что одной надежды на волонтерство мужчин недостаточно, Переведенцев предлагал проводить широкие разъяснительные кампании:

Эти меры должны прежде всего предусматривать изменение у некоторых представителей нашего общества традиционного взгляда на женщину как на основную рабочую силу в доме. Способствовать этому будет широкое обсуждение данного вопроса в печати, прежде всего молодежной, организация специальных лекций и бесед для молодых в Домах культуры, клубах и т.д. К такой работе должны быть привлечены также и врачи, пропагандисты медицинских знаний. Кому как не им следует доходчиво объяснять молодым, что двойная нагрузка на женщину, которой не помогают дома, мешает ей успешно сочетать обязанности гражданина, работницы, матери и жены. (Там же.)

Переведенцев ратовал не за дефеминизацию репродуктивного труда, но за его «облегчение», т. е. сокращение при сохранении патриархатных конвенций. Мужчины должны «помогать» женам, но саму ответственность женщины за домашнюю сферу Переведенцев не оспаривал, – равно как и не ставил под сомнение, а, напротив, прокламировал обязательное материнство. Однако на фоне других авторов он выглядит почти феминистом. Другие публицисты озвучивали ровно те взгляды, которые Переведенцев называл «традиционными». Журналы (особенно «Советский Красный Крест», где публиковались «научные» работы психологов) изобилуют сочинениями, укрепляющими бытовой сексизм авторитетом науки. Воспроизводится патриархатная азбука: описывается мужская активность против женской пассивности, мужская инновативность против женской «склонности к традициям», мужская «очерченная структура личности» против женской «способности приспособиться к любому характеру», «мягкость и слабость как главное достоинство женщины» и так далее. «Хорошая хозяйка» утверждается как сама собой разумеющаяся ипостась советской жены. Работа по дому понимается практически как поведенческий признак женщины: птице свойственно строить гнезда, пчеле – сооружать соты, женщине – готовить еду и мыть посуду. И никакое «равноправие» (сфера культуры) не в силах противостоят природным инстинктам:

Равенство равенством, но у нее тоже есть специфические семейные обязанности, и надо девушку к ним готовить... В конце концов, альтруизм заложен в женщине самой природой. (Соловьев И. О мужском и женском достоинстве. Советский Красный Крест, 1976.)

И в условиях полного равноправия с мужчиной женщина остается воспитательницей, блюстительницей порядка, хозяйкой в доме. (Блинов Г. Агония женственности. Советский Красный Крест, 1978.)

Перераспределять труд в семье бессмысленно и безнравственно, ибо чревато распадами семей. Такие сигналы

поступали не только со стороны науки, но и из экзистенциальных откровений самих женщин. Например, в одном из номеров «Советского Красного Креста» было опубликовано письмо покинутой мужем читательницы:

- *Пришей мне пуговицу.*

- *Сам пришей. Я учу английский.*

Вот он – семейный очаг. Муж действительно мог ее пришить сам, но, может, именно в те минуты он нуждался в теплом участии жены, хотел почувствовать заботу о себе, а вместо этого на него пролился холодный душ отчуждения... ..равноправие не предлог к тому, чтобы женщина вела себя в доме как разбушевавшийся начальник... (Что я скажу своему ребенку? Письмо одинокой матери. Советский Красный Крест, 1976.)

Таким образом, хотя в идеологической сфере и звучали призывы к мужчинам взять на себя половину домашней работы, они не могли изменить ситуацию, поскольку вступали в противоречие с постоянно воспроизводящейся маскулинной гегемонией – социальной, политической, экономической. Ситуация была парадоксальна, – как и парадоксальна сама постановка задачи «освобождения женщины от кухонного рабства». В ситуации гендерной сегрегации и натурализации семьи эта задача не имеет решения. Невозможно освободиться от рабства при сохранении рабства, т. е. зависимой социальной роли женщин. Неоплачиваемый репродуктивный труд – своего рода принудительная работа, или, по выражению радикальных феминисток, «налог» (Reproductive Labour Tax) в форме трудовой повинности, обозначающий и обуславливающий подчиненное положение женщин. В такой ситуации при любых технических новшествах может измениться лишь форма «налога», но его величина, т. е. наличие эксплуатации/отчуждения, останется неизменной.

Кухня: приключения Лука и Кабачка

В СССР невидимый репродуктивный труд – в силу неуспешности борьбы за его сокращение – приобрел дополнительную степень невидимости. Неэффективность перечисленных четырех путей освобождения привела к активации «пятого пути», – а именно, вытеснению и сокрытию этого неуспеха. С одной стороны, двойная нагрузка женщин (работа на производстве + «вторая домашняя смена»), воспевалась и преподносилась как достоинство и обогащение жизни:

Мы привыкли к тому, что наши женщины всюду поспевают. Это уже вроде бы норма: ты и отличная производственница, и примерная мать, и прекрасная хозяйка... Многогранная жизнь, полная самых разных земных, осязаемых интересов. (Хорицкая Ю. Служу науке. Работница, 1975.)

С другой стороны, одна грань этой многогранной жизни, а именно «первая смена», «настоящая работа», получала огромное преимущество в сфере репрезентаций. Факт существования «второй смены» забалтывался многочисленными рапортами об успехах женщин на производстве.

Содержание журнала «Работница» 70-х здесь особенно показательно. На обложке и в журнале размещалось огромное количество фотографий участниц трудового процесса; публикации о трудовых достижениях открывали номер и преобладали в нем. Материалы же, посвященные частной жизни и домашнему хозяйству, рецепты и советы вытеснялись на последние страницы, при этом не сопровождаясь фотографиями. Кадры женщин у плиты или со шваброй в руках никогда не появлялись в этих журналах. Домашняя работа, вроде бы признанная достойной «гранью земных интересов», тем не менее, не представляла образов, т. е. скрывалась от взгляда. Единственная фотография из всех просмотренных выпусков – стилизованная красавица с подносом, иллюстрирующая рецепты «Русской кухни», т. е. не «советская женщина», а сказочный персонаж.

«Сказочный стиль» вообще превалировал при оформлении материалов, посвященных кухне. Чаще всего такие материалы сопровождались мелкими, как оговорки, рисунками живых овощей – коллег Чипполино и Сеньора Помидора. Языком графики рассказывались веселые истории из жизни еды, которая сама себя производит. Эти а-ля иллюстрации из детских книжек повторялись из номера в номер и представляли мир кухни как мир удовольствия, шуток, необязательной игры, вымысла. При сравнении пляшущей моркови с гордыми лицами депутатов с первых страниц контраст бил в лицо. Сразу становилось понятно, какой мир настоящий, а какого не существует.

Таким образом, советский патриархат предъявлял «демонстративный», «фасадный», или «репрезентативный» тип эмансипации женщин. Власть настолько обсессивно рапортовала об «окончательном освобождении», что по одной этой частотности можно в этом освобождении усомниться.

Кухня: как полюбить нелюбимую работу

Описанная дискурсивная ситуация сохранилась до распада СССР и стала благодатной почвой постсоветской реакции, которую принято определять как «патриархатный ренессанс» – ввиду усиления императива «возвращения женщины в семью» и устранения императива обязательного трудоустройства. Примечательно, что устранение последнего во время слома режима (перестройки) определялось как «освобождение»: *«Именно в период перестройки Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев выдвинул программу облегчения женской двойной нагрузки путем возвращения женщин к естественному предназначению, возвращению в лоно семьи..., а чуть позднее министр труда Г. Меликьян высказывал сомнения в необходимости занятости женщин до тех пор, пока всем мужчинам не будет гарантирована работа... Анализируя культурные тенденции, обнаженные Перестройкой, Татьяна Клименкова пишет:*

«Это смешно, но до сих пор проходит незамеченным, что в манифестах многочисленных новых политических партий рядом с требованием предоставить личности право свободно развивать свои возможности, часто буквально на следующей же странице написано: «женщина, наконец-то, должна быть возвращена в семью"...» (Здравомыслова Е. Перестройка и феминизм. Сайт группы «Что делать?»).

Однако в системе «государственного патриархата» такой сценарий можно считать закономерным. При отсутствии в СССР женского движения как политической силы, при отсутствии феминистского голоса в академической и публицистической сферах, при отчуждении общества от «правовых достижений» – общественных, но не общих – эмансипация женщин являлась проектом государства, а не общества, не была *приобщена*, т. е. не имела в обществе опор, поэтому вместе с крахом государства так легко начался процесс ее сноса.

Сегодняшние женские журналы от советских отличает существенный перевес в сторону частной жизни. На нынешних обложках – портреты не швей и строительниц, а моделей и актрис, т. е. тех же «успешных женщин», однако с качественно иным пониманием успеха. Рецепты приготовления блюд сопровождается не мелкая графика, а пышные фотографии готовой еды, тоже как бы появившейся по мановению волшебной палочки. На бытовую технику надежды возлагаются по-прежнему, и даже с удвоенной силой. Т. е. существует немало и сходств.

Однако главное отличие: чувство вины за неискорененный домашний труд, витавшее на страницах советских журналов, со страниц сегодняшних выветривается. Материалов о домашней рутине по-прежнему гораздо меньше по сравнению с модой, психологией и путешествиями; репродуктивный труд по-прежнему незаметен и не приветствуем в сфере репрезентаций, однако предпринимаются очевидные попытки реабилитировать эту деятельность, «смирить» с ней женщин. В качестве примеров можно привести:

— Попытки придать неприятной работе ореол психологической терапии: когда занимаешься очищением пространства, это приносит моральное удовлетворение, и проблемы сами собой отступают. Новелла из «Домашнего журнала» (2014) рассказывает историю девушки, обретшей счастье и гармонию после того, как она воспользовалась бабушкиным рецептом от снятия депрессии – «мыть полы три раза в день»:

За три дня Лера выдраила квартиру до блеска и сама будто очистилась изнутри. Не это ли имела в виду ее мудрая бабушка? Не зная, долго ли продлится эйфория, Лера решила закрепить эффект. Она вооружилась тряпками и вышла в подъезд. «Ну и грязюца!» — сердце ее радостно забилось... (Рожкова Е. Бабушкин рецепт. Домашний журнал, 2014.)

— Попытки придать обслуживающему труду ореол индивидуальной практической пользы. В журнале «Дарья» (2014) приводится таблица условных единиц физической нагрузки, соответствующих той или иной домашней работе (тоже своего рода НОТ и оптимизация труда – одновременно и чистишь плиту, и сжигаешь калории).

— Советы, как смириться с неизбежным. Читательница «Домашнего журнала» делится с товарками приемами адаптации к нелюбимой деятельности:

Я обычно использую два способа. Первый – просто делать. Не думать, не оценивать, не представлять заранее, как это долго, нудно, неприятно. Можно вообще думать о чем-нибудь другом. Например, об отпуске в Таиланде среди слонов и песчаных пляжей. Второй – сделать вид, что тебе это нравится. Перед кем сделать вид? Перед собой. Потому что если рассудить разумно и посмотреть со стороны, то ничего такого ужасного в муке и отмывании грязных окон нет. Наоборот, это можно превратить в увлекательную игру. Ведь когда-то ребенком вы же играли «в повариху» или «в уборку»... (Рубрика «Есть Контакт!». Домашний журнал, 2014.)

Мы здесь словно возвращаемся в мир домохозяек Бетти Фридан, которые, несмотря на самые современные бытовые

машины, так и не смогли избавиться от «основной мысли, которая опасно маячила в «тысячах глубинных интервью, проведенных нами по поводу десятков разных чистящих средств», мысли, которую сформулировала одна домохозяйка: “Это отвратительно! Я вынуждена делать это, и потому я это делаю. Это неизбежное зло, вот и все”» («Загадка женственности»).

Авторка письма в «Домашний журнал» не пытается придать домашнему труду какие-то прибавочные качества, не ищет в нем источник счастья. Она отдает себе отчет, что труд этот неприятный и нудный. Но это «неизбежное зло», и его надо принять – «просто делать». В какой-то степени такое «прямое» смирение сильнее и безнадежнее, чем вера в терапию или магию мытья полов.

Итого, наш обзор прессы, посвященной «освобождению женщины от кухонного рабства», завершается полным освобождением от любых попыток освободиться.

Многоуровневое исследование и авто-субверсия

Мы часто заявляем, что работа Штаба – это активность на пересечении искусства, литературы, культурных исследований (cultural studies) и медиа-активизма. Но при этом обычно не задаемся вопросом, как и почему это «пересечение» работает, и откуда оно вообще взялось. Только спустя три года работы на такой «пересеченной местности», мы подходим к необходимости такого осмысления, – и этот текст есть первый его контур.

Обычно подобные «гибридные» проекты мы называем «художественно-исследовательскими» – т.к. они совмещают формы как искусства, так и той области, которую можно было бы назвать наукой. Но на самом деле нельзя, поскольку «наука» это не нейтральный эпистемологический модус, а прежде всего социальный институт с сетью учреждений, которые производят и распространяют знание – якобы особо качественное. Это сеть учреждений со строгим ранжиrom, ритуальными инициациями и механизмами распределения квалификаций, титулов и слонов. И поскольку мы к этой сети не относимся, вернее будет сказать, что мы используем ту форму, которая в эпистемологии именуется «логико-понятийной формой накопления знаний», – то есть знаний, претендующих на доказательность, обоснованность и «объективность». И одновременно используем формы искусства – то есть формы образные, или, как иногда говорят, «целостные», или синтетические, – то есть производящие «эстетическую реальность».

Первый вопрос – «как?». Т.е. как это «совмещение» форм осуществляется на практике?

Во-первых, мы иногда просто **рядопологаем** эти подходы. То есть в дискурсивном пространстве одного проекта представляем как самостоятельные академические, так и самостоятельные художественные студии на одну тему (например, у нас был проект «Утилизация социалистического», где было представлено как академическое исследование постсоциалистических городов, так и арт-проект на эту же тему). То есть – пытаемся создать эпистемологическое напряжение, совмещая разные подходы. Такое решение коррелирует с одним из определений *«трансдисциплинарности»* (таких определений несколько в силу новизны понятия). А именно, это **исследование проблемы на нескольких уровнях** (Мокий М., Мокий В. Трансдисциплинарность в высшем образовании: Экспертные оценки, проблемы и практически решения // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5).

Второй прием, более сложный, – когда в рамках одного (расширенно понимаемого) текста совмещаются как конвенции, принятые в науке – претензии на «надежность», «воспроизводимость», «валидность», – так и конвенции художественные, – например, метафорический стиль письма или какие-то другие «вольные» элементы, вплоть до таких, как перформанс, интервенция, провокация. Либо – в текст могут вкрапляться формы, стили, конвенции других сфер деятельности, например, просветительского активизма или краеведения. Например, наш двухлетний проект о советском монументальном искусстве: по его итогам мы писали тексты, а также выпустили карту бишкекских мозаик – получился культурологически-краеведчески-активистский продукт.

Этот прием ввиду «нарушения границ жанра» можно обозначить как **авто-субверсия**. Субверсия может проявляться в собственно субверсивных *формах искусства*, – таких, как подрыв собственной конвенционально-деловой презентации собственным же хулиганским перформансом

– такой опыт у нас есть (условно говоря, прием Сорокина, – ломка стиля повествования).

Впрочем, здесь стоит оговориться, что мы не делаем особых ставок на радикальное искусство. Радикальное искусство тоже обросло традициями и конвенциями и стало в каком-то смысле техничным, т. е. предсказуемым. От радикального художника ожидают привычной агрессии, которая, таким образом, становится рутинной и теряет субверсивный эффект. Для нас более интересно, чтобы субверсивный заряд содержался даже в акциях и продукции, выглядящих добропорядочно. То есть – даже там, где конвенции вроде бы соблюдаются, где подрыв не явлен декларативно, но он наличествует как потенция, как возможность взрыва в любой момент, как непредсказуемость и право быть как неудобными, так и белыми и пушистыми, – в зависимости от политических, этических мотивов.

То есть наша сверхзадача – чтобы любая деятельность и продукция Штаба была отмечена таким эксплозивным напряжением, обеспечивающим мощный коммуникативный и суггестивный эффект.

Радикальная институция

Следующий вопрос – «почему»? Чтобы на него ответить, необходимо уточнить наши институциональные контуры. Вернее, указать на сложность этого уточнения. А именно – контуры вроде бы есть, но и их сразу нет. С одной стороны – мы ведем активную деятельность, у нас есть четкие рамки – библиотека по искусству и современной философии, образовательная программа и т. д. Есть программа резиденций, куда приезжали художники из разных стран. Мы выпускаем печатную продукцию. Но – кто эти «мы»? Штаб не интегрирован в академическую систему, но и в систему современного искусства мы тоже не очень активно включены. Собственно, открытие Штаба стало жестом институциональной критики и отказа от системных конвенций международного

совриска как эффекта и продукта неолиберализма (Штаб открыла команда Павильона Центральной Азии на Венецианской биеннале-2011; после опыта «включенного наблюдения» за работой экономической биеннальной машины взгляды многих из этой команды пережили резкий скачок влево). Совсем отменить неолиберализм мы, к сожалению, не можем. Штаб, что называется, «живет на гранты», но мы стараемся так выстраивать отношения с донорами, чтобы они не оказывали влияние на политическое содержание нашей работы. Либо стараемся найти таких доноров, позиции которых изоморфны нашим.

То есть мы, как и все, не можем себя исключить из капиталистической реальности, но и прилежно производить «современное искусство» нам стало тоже не интересно. И мы выбрали такой как бы аскетический образ жизни, без активного участия в выставках совриска и как бы приобрели свободу. Но это в каком-то смысле свобода маргинала. Мы находимся в стороне от машины, распределяющей иерархии и конвенции. Но также и она распределяет социальный и символический капитал – карьеры и достижения, – то, что объективировано в списке под названием «Сиви художника», который должен расти непрестанно, как капитал.

Таким образом, наша профессиональная идентичность проблематична в силу неангажированности нашей организации. И она вдвойне проблематична в силу нашей неокончательной ангажированности даже собственной организацией. Это касается режима авто-субверсии. Случается так, что наша деятельность внезапно переключает регистры – с режима институции на режим арт-группы, и порой довольно радикальной. В таких случаях мы говорим, что это действует не Штаб, а некая арт-группа. Но это, конечно, лукавство, поскольку эта деятельность со Штабом идентифицируется. Это переключение регистров затрудняют и без того трудную идентификацию. За неимением точной формулы мы иногда называем себя *радикальной институцией*.

Далее, наша прекарность и неуверенность в завтрашнем дне – в том, что мы найдем деньги на следующий год, – также не способствует определенности.

С этим комплексом размытой идентичности, видимо, и связан наш выбор в пользу *трансдисциплинарного подхода*, – который для нас фактически программный, однако он работал не в режиме программы, а в режиме спонтанной практики. И только в последнее время мы стали подходить к необходимости его концептуализации. То есть в последнее время мы стали размышлять о том, что такая *неуместность* и неопределенность это собственно и есть наша идентичность, – или, вернее, *идентификация*, – в том смысле, в котором писал Стюарт Холл: *«Вместо того, чтобы говорить об идентичности как о чем-то завершенном, нам следует говорить об идентификации и рассматривать ее как продолжающийся процесс. Идентичность возникает не столько из полноты идентичности, сколько из нехватки цельности...»* (Цит. по: Дикон Р. А. Производство субъективности // Логос. 2008. № 2).

Квир-метод

Этот метод «пересечений» и «смешений» я бы хотела назвать **квир-методом**. Почему? Начну с того, что с понятием (или как бы сказал Деррида, не-понятием) «квир» у Штаба имеется собственная история отношений. Мы написали «Манифест квир-коммунизма»; квир-идея вдохновляет работу Штаба и во многом определяет наш утопический горизонт.

Теперь о квир-теории. Как известно, эта теория осмысляет идентичности как денатурализованные, ситуативные и текущие. Она возникла как критика политики идентичностей и черпает энергию из пафоса преодоления дискриминаций. Квир-теория генеалогически восходит к ЛГБТ-студиям, но следует дальше, провозглашая *«идентичность без сущности»* (по словам Дэвида Гальперина, цит. по: Джагоз А. Введение в квир-теорию. Перевод М. Кукарцевой. М.: Канон+, 2008). Речь причем идет не только о гендере и

сексуальности. Ив Кософски Сэдживк понимает квир как *«рычаг для достижения нового типа справедливости во фрактальных лабиринтах языка, цвета кожи, миграции, государства»* (Цит. по: там же).

Важно, что принципиальной особенностью квир-теории является ее незавершенность, открытость, противоречивость и некоторая сомнительность. Как пишет Джудит Батлер, квир *«должен остаться тем, что он есть в настоящем, никогда полностью не признанным, но всегда, и только, трансформирующимся, искривленным, сомневающимся в традициях, привычках...»* (Там же). И, что особенно кажется нам привлекательным, квир с необходимостью включает в себя утопическое измерение: *«Квир... описывает горизонт возможного, чье точное пространство и гетерогенные границы не могут быть в принципе установлены заранее»* (Д. Гальперин, там же).

Итого. Учитывая то, что *идентичность есть знание* (можно вспомнить слова Фуко о том, что «тело – поверхность, где записываются события...» (цит. по: Дикон Р. А. Производство субъективности)), работа с формами производства знания, которые ускользают от точных дефиниций, может быть названа *квир-методом*.

Слово «квир» кажется подходящим для обозначения нашего метода еще и потому, что «квир» – это политически заряженный термин, содержащий коннотации протеста и сопротивления дискриминациям и догматическим конвенциям. Можно сказать, что матрица идентичностей как принцип таксономии (в целях контроля и регуляции) нужна угнетателям, а не угнетенным. Для нас же институциональная критика является важным мотивом привлечения квир-метода.

Не снисхождение и не оккупация

Теперь я хотела бы вернуться к уже мелькнувшей теме взаимоотношений науки и искусства (как форм производства знания) и чуть подробнее здесь остановиться – в контексте

квир-метода. Как «наука» и «искусство» выстраивают между собой отношения? Можно было бы подумать, что наука это некий «серьезный» полюс этого диалога, а искусство – напротив, несерьезный. Можно было бы представить, что мы организуем баланс аналитического и синтетического, или разума и чувства, или логики и эмоций. Но нет, в таких терминах мы не рассуждаем. Так же не эвристичны оппозиции «объективное/субъективное», «обязательное/необязательное», «общественное/частное». Наука, безусловно, претендует на эпистемологическое лидерство, но и искусство в какой-то степени тоже – претендует на лидерство в сакральном смысле, на трансгрессивный рывок. И первая, и второе демонстрируют диалектику объективного и субъективного, индивидуального и коллективного, общественного и частного. И до эпохи «смерти автора» искусство не рассматривалось как продукция сферического индивида в вакууме. Раньше рукой художника водил бог, моральный долг и чувство гармонии, сейчас – время, дискурс и коллективное бессознательное. То есть художник всегда кого-то или что-то представляет, даже если сам/а не желает этого, у нее/него нет выбора.

Нет, наш квир-метод вызван не столько «различиями» науки и искусства (которые, безусловно, есть), сколько их сходством – в качестве общественных институтов, производящих не только идеальное знание, но, прежде всего, общественные отношения, принимающие формы институциональных барьеров, иерархий, классификаций, конвенций, границ.

Эти границы, якобы призванные отделять качественное знание от некачественного, истину от лжи, добро от зла, очевидно, так не работают. Достаточно посмотреть, на какие темы защищаются диссертации, и что публикуется в научных журналах – откровенного трэша предостаточно. С точки зрения здравого смысла всем понятно, что это трэш, но его наличие никого не удивляет, это рутинная продукция научной машины.

Арт-система с ее границами так же противоречит собственным символам веры – вернее, просто не учитывает их. Арт-система существует так, как будто не существует никаких мучи-

тельных споров вокруг природы искусства и его критериев. В теории искусства давно царит полная анархия, то и дело свершаются революции. Вроде бы давно отменено разделение на высокое и низкое искусство, на авангард и кич. Смерть искусства стала рутинной. Непонятно, что такое искусство вообще. Но арт-машина работает так, как будто этих затруднений нет, как будто все понятно и взвешено. Машина уверенно производит, ранжирует и дистрибутирует художников и их произведения. Одновременно вместе с ростом цен продолжают расти спекуляции об условности критериев оценки.

Таким образом, очевидно, что границы и барьеры всех этих институтов тавтологичны и консервативны – в том смысле, что существуют они для того, чтобы воспроизводить самое себя. Разумеется, такое статус-кво часто вызывает протест и желание нарушить эти правила и визовые режимы. В частности, это относится к науке. Имеется много примеров протеста против авторитаризма науки со стороны самой науки. Это, например, «эпистемологический анархизм» Пола Фейерабенда (1924-1997), который был профессором философии в Беркли и выступал против авторитаризма, догматизма и шовинизма науки, утверждая, что наука имеет не больше эпистемологических прав, чем миф или религия. Или *трансдисциплинарное* движение, которое сейчас является довольно модным – так, что идут дискуссии о включении его в систему высшего образования. Трансдисциплинарное движение стремится преодолеть жесткие академические рамки и, как пишут его участники, «примириться» с менее почтенными формами познания (как бы принять маргиналов в свои объятия). В Хартии трансдисциплинарности, принятой на Первом всемирном конгрессе по трансдисциплинарности в Португалии (ноябрь 1994) говорится: *«Трансдисциплинарное видение решительно открыто в своем выходе за область точных наук, требуя их диалога и их примирения с гуманитарными и социальными науками, а также с искусством, литературой, поэзией и духовным опытом»* (сайт «Трансдисциплинарные исследования»).

Направление в сторону трансдисциплинарности указывают и теоретики *деколониального поворота*. В этом случае вектор интеграции и адвокации (примирение с «подчиненными дискурсами») сменяется вектором самоадвокации и протекционизма. Для незападных теоретиков доминирование «научности», «научной картины мира» есть не просто отвлеченный факт несправедливости по отношению к другим областям знания, но фактор собственной дискриминации – в том случае, если, например, ты являешься представительницей или представителем «коренных культур», недостаточно «развитых» и нуждающихся в инъекции модерности и, конечно, в том, чтобы быть «изученными».

Теоретики деколониального поворота пытаются найти радикальный революционный выход из просветительской и модернистской универсалистской парадигмы, из субъектно-объектной познавательной схемы, – выход, который они обозначают как «плюриверсальность». Как пишет исследовательница М. Тлостанова: *«...транскультурная, транс-ценностная и транс-эпистемологическая модель обеспечивает разрыв с прежними дисциплинами и их преодоление и включение в поле образования и знания не только академического и университетского знания, но и тех форм знаний, которые оказались дискредитированы в монотопической герменевтике и превращены в подчиненные (традиция, нерациональное знание, фольклор, религия, аборигенные космологии, знание, вырабатываемое в рамках социальных движений, и т.д.)»* (Тлостанова М. Человек в современном мире: проблемы множественной идентичности // Вопросы социальной теории. 2011. Т. IV).

Это примеры попыток протеста против косности академических границ – со стороны самой науки/теории. При всей привлекательности подобных попыток они пока остаются больше декларациями, чем развитой практикой.

Со стороны искусства стремление к трансдисциплинарности тоже наблюдается – однако крайне специфическое, характерное только для искусства. Это стремление имеет

характер не «примирения», не «приглашения» и даже не сепаратизма, а экспансии. Визуальное искусство уже на протяжении века упорно завоевывает соседние территории, присваивая себе иномедиальные способы выражения – театра, кино, литературы, а также философии и науки. В итоге искусство оккупировало все медиа, формы его выражения не имеют ограничений – искусство может принимать формы от помойного ведра до научного фолианта, от плача до лекции.

Однако такая трансдисциплинарность имеет, скорее, игровой характер, это «игра в одни ворота». Экспансия искусства не влияет на захваченные территории. Искусство не продвинулось дальше имитации форм. Писсуар в музее нефункционален. Какой-нибудь «концептуалистский» арт-объект, имеющий вид многотомного сочинения и даже снабженный библиографическим указателем, на территорию академической науки не проникает и на нее не влияет, оставаясь в анклаве искусства. Вернее, проникает, но лишь как объект.

Квир-метод отличен как от первого, так и от второго комплекса. Это не инициатива со стороны науки, т. к. у нас отсутствуют соответствующие полномочия, но и не инициатива со стороны «искусства», т. к., несмотря на неограниченность форм искусства, используемые нами формы зачастую не опознаются как артистические. Мы не имитируем исследование, снабжая его этикеткой и синопсисом, а проводим действительное исследование и выпускаем по его итогам книгу. Можно сказать, что квир-метод это приглашение из ниоткуда, или с пограничья.

Квир как номадическая практика

Иначе говоря, квир-метод вызван не утопической интенцией холизма, не жадной интеграции и взятия лучшего из каждой области, но, скорее, экономикой отказа (вообще, аффирмация «синтеза», междисциплинарности и слияния всего со всем, как мне кажется, есть фантазм целостности и тоски по Наличию, если использовать язык Деррида).

Наша практика обусловлена не верой в лучшее, а критической статус-кво, это не утопическая, а нигилистическая программа. Желая отказаться от ангажированности, невольно эмигрируешь на соседние территории (просто потому что «исход» – он не только «откуда-то», но и «куда-то») – культурных исследований, активизма, политики – но временно, не задерживаясь подолгу, не укореняясь, но и, тем не менее, привнося на соседние территории чуждые влияния.

Мне нравится слово «неукорененность», то есть отсутствие корней. Для меня это очень личное слово. Паспорт у меня казахстанский, работа бишкекская. Я большую часть года нахожусь в Кыргызстане, и уже не знаю, где мой дом. Он как бы есть, но в данный момент его нет, т. е. ты всегда «не дома». Метафора «не-дома» кажется мне подходящей – не «жизнь на два дома», а ускользание из обоих. Ситуация отложенного дома. Тут также могут быть эвристичны метафоры теоретиков деколониального поворота – концепции пограничного субъекта, креольности, ситуативной идентичности. В частности, концепция пограничного субъекта Глории Ансальдуа, – предъявляемая через образ *метиски*, живущей на границе между колонией и метрополией. Ансальдуа пишет о сообществе *«транс-индивидов, постоянно переходящих из одной культурной системы в другую, но везде остающихся «чужими».* Отсюда и ощущение внутренней незащищенности, а также неуверенность в себе, как основные черты сознания границы. Оно как бы находится постоянно в шоке, в состоянии культурного столкновения, и выходом может быть растущая способность к пластичности и постоянной смене точек зрения и ролей... Для Ансальдуа важна сама смена типа мышления – с аналитического, центростремительного, настроенного на конкретную, рациональную задачу, на мышление «рассеивающееся» (центробежное), отказывающееся от устоявшихся рациональных законов и направленное в итоге к более всеобъемлющей перспективе, имеющей множество целей и множество способов их достижения...» (Тлостанова М. Человек в современном мире: проблемы множественной идентичности).

Но все же мы склоняемся больше к «квиру», поскольку семантика «пограничья», «креольности» или «метиссажа», при всей радикальности, включает коннотации «исходных корней», коих «квир» лишен.

Важно заметить, что номадические квир-практики принципиально отличны от постмодернистских игр и театральных переодеваний тем, что мы не рассматриваем наши практики как «игру» или художественную имитацию. Неукорененность не равнозначна безответственности. Тексты, которые мы пишем и проекты, которые мы делаем, могут быть обращены к науке или к искусству, или к обоим одновременно. И тут мы более уязвимы, чем легитимированные деятели, поскольку, например, наши статьи и книги не будут защищены статусом, должностью или другим фактором цеховой включенности (тогда как – если доктор наук напишет трэшевый текст, он останется доктором наук). Наше «трансграничное» «субверсивное» письмо может вполне воспроизводить конвенции научного стиля – надежность (воспроизводимость), валидность, доказательность, предъявление объяснительной схемы, эвристичность – но не ввиду институциональных требований, а в силу стремления к истине.

Вместе с тем эту свою «невключенность» мы постоянно ощущаем и сталкиваемся с ее границами. Например, к нашим проектам интерес академических исследователей нельзя назвать слишком большим. Участие в наших проектах не приносит научным деятелям карьерных бенефиций, например, наши издания – не «ранжированные». Приходится такие моменты учитывать.

И, наконец, в завершение. Если попытаться найти не апофатические, а позитивные основания нашего квир-метода, то здесь, возможно, будет кстати фукианская «стилизация себя» или «эстетика существования». Закончить же я хочу цитатой из текста комментатора Фуко Р. Дикона: *«Свобода – это не состояние, это деятельность, непрерывная и неутомимая борьба».*

В СЕРИИ «НОВЫЕ КРАСНЫЕ» СВОБОДНОГО МАРКСИСТСКОГО
ИЗДАТЕЛЬСТВА ВЫШЛИ И ГОТОВЯТСЯ КНИГИ:

ИВАН ОВСЯННИКОВ. В ЗАЩИТУ БОЛЬШИНСТВ

МАРИЯ РАХМАНИНОВА. ЖЕНЩИНА КАК ТЕЛО

ОЛЕГ ЖУРАВЛЕВ. СРАВНИВАЯ МАЙДАН И БОЛОТНУЮ:
СОЦИОЛОГИЯ ПОСТСОВЕТСКИХ ПРОТЕСТОВ

ИЛЬЯ БУДРАЙТСКИС. ДИССИДЕНТЫ СРЕДИ ДИССИДЕНТОВ.
СОЦИАЛИСТЫ И ИНАКОМЫСЛИЕ В СССР.
1950-1980-Е

